

Алексей Радов

Алексей
Радов
МЕРТВЫЙ
НОЯБРЬ



0-7-7

Алексей
Радов
**МЕРТВЫЙ
НОЯБРЬ**



О·Г·И

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Р15

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Радов А.

Р15 Мертвый ноябрь / Алексей Радов. — М.: ОГИ, 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-94282-712-0

В книгу вошли рассказы, написанные в человеческой манере,
с добрыми пожеланиями вам, современные читатели!

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© А. Радов, 2013
© ОГИ, 2013

содержание

(рассказы 1998—2003)

* * * (Была ночь и было холодно, и я спал...)	9
революция	15
движение света в пустоте	25
семеро против фив	33
жизнь и смерть в префектуре сибуя	36
настя	40
любовь	43
настя-2	48
моя кошка	52
губы	56
дорфман умер	59
писатель и история	63
близнец	66
симон, симон и павел	74
реализм для самых маленьких	79
ахура должен умереть	81
ночная вода	85
внутренняя пустота	86
причины моей ненависти	89

пята	92
рассказ о фаршированном перце	94
остановка	107
ноябрь наблюдателя	110
метафизика днём	119
как дед михась древо жизни рубил	148
история одной семьи	157
еще история другой семьи	159
история одной семьи, в деталях и диалогах	160
тайная история одной семьи.	161
покой	162
ИЗУЧАЯ.	166
зВОНКи	188
эранвеж	196
амен	200
волхвы	203
дубль два.	205
света	212
Боль	215
смерть где-то	228
айн (айны)	232
старая жизнь.	236
о длине тварей	246

**сегодня умер папа
(жизнь вне жизни)**

.	249
-----------	-----

**(рассказы
1998—2003)**

**(Была ночь и было холодно,
и я спал...)**

Была ночь и было холодно, и я спал. И райские птицы жили над моей кроватью и пели мне песни. И я видел сон. И сон видел меня. Хорошо. Степь и ветер, песок в глаза, кристальная реальность, воздух, который, кажется, можно есть, такой он плотный и живой. Там были люди. Их было немного, но они были красивы. У них были живые лица и раскаленные тела. На них были надежды только набедренные повязки, даже на девушках. Девушки снимали их по желанию. Потом я проснулся. Было утро, шел снег. Это зима. Я проснулся, выпил чаю, без сахара, но с лимоном, и пошел в институт. Снег падал мне на веки, пока я шел, и нежно щекотал их. Когда я останавливался, чтобы прикурить, снег переставал падать. Это парадокс. Когда вошел в институт, где тоже было холодно, было без двадцати девять. Я опаздывал. Тут я встретил знакомую, Лиду. «Привет, мужик, — сказала она. — Хочешь, я отсосу у тебя?». Я вежливо отказался от орального секса. Секс меня вообще не очень интересует, но по утрам особенно. «Ладно, мужик, тогда — пока», — сказала знакомая. Я вошел в аудиторию еще десять минут спустя. Это большая аудитория с гипсовыми бюстами героев ушедших

столетий и рядами длинных однообразных скамей с бюстами героев дней сегодняшних. Когда я вошел, лектор как раз говорил: «Особенности бихейвиористского подхода в когнитивной флактологии можно условно разделить на два...» — Я сел и тупо посмотрел на лектора. — «Первый — и это надо записать — состоит в поиске дистрибутивных диспозиций индивида», — я заглянул в свой портфель. Ручки там не было. Записывать было нечем. Зато в портфеле оказалось полбутылки каберне, я достал и сделал большой глоток — «...главное во втором подходе — не пытаться применить эмпирически обоснованные данные на себе. Это крайне важно...» — Лектор потер ладонью живот и снял очки.

Задумался. «На чем мы остановились?» Я достал из портфеля книгу и стал читать. «Вскоре затем поступил донос на Палланта и Бурра с обвинением в заговоре с целью передать верховную власть Корнелию Сулле, принадлежавшему к именитому роду и состоявшему в свойстве с Клавдием, которому он, вступив в брак с Антонией, приходился зятем», — сообщал автор. Что за бред, подумал я. Эту книгу я читал уже третий год с большими перерывами. Смысл стал давно мне неясен. Я перелистнул немного назад. «Была поздняя ночь, и у Нерона все еще пили...», — прочел я. И эти пьют! А еще древние греки! Я глотнул из бутылки — «когда к нему входит Парид...» — и т. д. Я почитал еще минут пятнадцать и отложил книгу. Научную литературу долго читать нельзя, не то сам, лет через сорок,

будешь писать подобное. Я посмотрел на лектора. Он — на меня.

— Молодой человек, вот, на последней парте, не подскажите, что такое «политика» с точки зрения Монтескье? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я лениво.

— Ага. Ладно, — сказал лектор.

Тут я заметил, что лектора никто не слушает. Часть студентов спала, часть смотрела по сторонам и друг на друга, кто-то записывал, но лектора никто не слушал. Никто. Мне стало его жалко.

— Политика, по Монтескье, есть климат, почва и состояние земной поверхности, которые, в свою очередь, определяют дух народа и характер общественного развития. Важнейшей детерминантой учения Шарля Луи Монтескье является отрицание учения Фомы Аквинского, — сказал я, — это он в «Письмах к господу богу» написал.

— «Письма к господу богу»? Позвольте, но у Монтескье нет такого произведения...

— Значит, это мольеровские. Я их путаю часто. На «М» оба. Как мудаки.

— Ага, — сказал лектор — мудаки, точно. — И вышел из аудитории в слезах.

Я сделал последний остававшийся мне глоток и углубился в размышления. Я очень люблю думать. Особенно ночью, когда времени много. Я думаю, я мечтаю, это бесполезно, но такова моя натура. Итак, я думаю: «2020 год. Я на работе. Я работаю в крематории. Это особый крематорий — здесь

сжигают не мертвых, а живых. Ведь после того, как людей стало слишком много, была объявлена программа всеобщей добровольной утилизации. ВДУ, сокращенно. Целый день ко мне приходит люди. Старые, молодые, красивые, нет, пидорасы, все кто угодно. Заходят в печь и сгорают там. Я знаю, что после того, как не станет никого, я сам войду в печь и сожгу себя. Последним. Это потому, что уже после первых добровольных сожжений появилась новая религия, физанство. Ее основал Физ. Джин Физ». Тут лектор вернулся и, извинившись, продолжил лекцию. За окном шел снег. Я стал разглядывать своих однокурсников и однокурсниц, от нечего делать. Боже (хоть тебя и нет), зачем ты создал столько идиотов? Из чего лепил ты уродливые лица? Эти лишенные всякой эстетики фигуры. Эти... Тебе, Бог, материала, что ли, не хватило? Вот рядом со мной сидит вроде как девушка. Весит, наверное, центнер. Лицо не то что не выражает проблеска разума, оно вообще еще не проснулось. И никогда не проснется. Эти волосатые ноги, эти жировые складки, это запах немытого тела! Разве может кто-либо возжелать такую? Может. И я знаю кто. Он сидит рядом и своими маленькими ручонками теревит ее немытые волосы. Тьфу. Лектор, и тот приличнее выглядит. «...итак, переходим к главной теме сегодняшней лекции. Запишите: «Художественная вивисекция как метод когнитивной науки». Записали? Ага. Итак...», — до меня донесся голос лектора. Я снова углубился в думы. «К крематорию уже с утра оче-

редь. Эти жаждут смерти. Ведь тогда их дети получают 300 грамм хлеба и 250 — водки. И смогут хоть один день не есть траву. Я иду мимо очереди. Сразу видно, кто как живет. Этот питается только травой, причем худшего качества. Сам, поди, ездит за город, собирать. Браконьер. Жрет, наверное, сырую. А эта пизда стоит одной из первых, небось, с утра пришла. Поддалась на псевдопатриотические призывы Всемирного Правительства. Лицо вовсе не зеленое, нет мешков под глазами. Небось, спит не просто на помойке, а в каком-нибудь полуразрушенном подвале, чудом уцелевшем после второй ядерной войны. Я прохожу мимо очереди, где одни стоят ради куска хлеба для детей, другие — хорошо обработаны электронной пропагандой, третьих привели насильно — это воры, убийцы и прочие криминальные элементы, кое-кто пришел просто из чувства солидарности с большинством. Я бросаю последний взгляд на крайне красивое лицо солидной дамы, с не зеленым лицом, и вхожу в здание. Рабочий день начался». «На сегодня все, до свиданья, лекция закончилась», — объявил лектор. Студенты ломанулись к выходу. Гурьбой. Меня лектор задержал у двери и сказал:

— Вы. Вот Вы. Вели себя сегодня просто недостойно.

— Извините, — сказал я, — в будущем буду вести себя намного более достойно.

— Вам хотя бы стыдно?

— Ага, страшно стыдно.

— Вас гнетет чувство стыда и ответственности за срыв (не боюсь этого слова — «Срыв»!) лекции.

— Да. Гнетет.

— Идите, — сказал лектор, — и молитесь за меня!

— Лады. Сегодня же поставлю свечку. Или палку. Брошу, — сказал я и пошел прочь.

Я шел и думал, что неплохо бы еще выпить, и поскольку между лекциями был перерыв, решил предаться алкоголизму. Но не тут-то было.

Эй! Вы, с глазами, нарисованными на внешней стороне век, с венами, натертыми наждачной бумагой, с не тронутыми временем лицами, с искусственными хуями! Вы, с омертвелыми душами! С эмоциями, контролируемыми разумом! С сердцем в общепринятой для его обозначения форме жопы! Вы, отнявшие у своих детей будущее, а у своих отцов прошлое! Потерявшие совесть и не знающие о долге! Вы, вы, все вместе, бойтесь: мы идем!

Так говорил Мальтус, потрясая кулаками, гневно смотря в воображаемое небо, на самом деле — в потолок маленькой комнатки на окраине большого города, в потолок, весь в разводах от сырости, в паутине ныне живущих и давно умерших пауков. «Мальтус» — это кличка. Как и у всех. Клички не имел лишь я, но меня редко замечали.

— Мы должны прийти. Наше время. Мы долго ждали за кулисами, теперь наш выход. Как 15 маленьких джинов, мы выйдем из наших бутылок, хотя всю жизнь в них лезли. Нас мало. Но достаточно, что поднять общее возмущение. Достаточно, чтобы кто-то смог умереть за идею. Да-да, — Мальтус внимательно обвел собравшихся взглядом и про-

должил. — Да! Пора проснуться. Завтра! Завтра я скажу вам доброе утро. Все помнят? Да?

Тут все, кто был в комнате, заговорили разом и быстро, перебивая друг друга, лишь я молчал. В итоге выделился один голос. Он покрыл, съел, как бы, остальных своим авторитетом. «Плохой бог», звали мы его. Или «пло-бо». Пло-бо был нашим лидером до появления Мальтуса. Он сказал:

— Я не сплю уже два года. Почти не сплю. А когда удаётся немного поспать, я вижу не сны, а их отражение, отражение в чьей-то воде. Сны получают-ся размытыми и вроде постаревшими. Вторичные сны. Но этой ночью я видел настоящий, живой сон. Я, кажется, умер и ищу место, где мне скажут, куда идти: к плохим, хорошим или в баню. Это место почему-то находится там, где наш с вами любимый бар. Я захожу, и ты, Мальтус, ага, ты, начинаешь считать мои прегрешения и наоборот, как их? Не помню. Ну, когда хорошо кому-то делаешь, в общем. И отправляешь меня в рай в итоге. А я не иду, я говорю, что мне завтра революцию делать. Обязательно. Ты говоришь, что можешь меня отпустить на один день, но тогда я попаду в ад. Я соглашаюсь, выхожу из бара, воскресаю, просыпаюсь, — Пло-бо помолчал. Потом добавил тихо:

— Ради тех, кто уже не с нами и завтра не увидит смерти Системы. Мы помним их имена. Ради наших уже умерших и еще не родившихся детей. Сотворим историю! Смерть Системе! Смерть Управлению!

«Смерть, смерть Управлению!!!» — закричали все.

«Смерть оному», — подумал я. Сидевший справа от меня совершенно лысый старый человек кричал громче всех. Потом все смолкли, и он заговорил.

— Я жил. Как все. Сорок восемь лет. Я работал на Систему, я женился на тупой домохозяйке. Я воспитал своих детей в духе лжи. Сорок восемь лет, — промычал он. Заплакал.

— Завтра ты искупишь свою вину, — сказал Мальтус. — Завтра. Мы все в чем-то виноваты. Мы все были иногда конформны. Мы давали себя убедить и заставить молчать. Но завтра мы сделаем то, что послезавтра сотворит из нас легенды. Мы будем выглядеть абсолютно непогрешимыми, святыми. Мы будем стоять у истоков, если хотите, расы. Новой социокультурной общности, — после этих слов Мальтус подошел к лысому и обнял его. — Ну же, мужик, спокойно: цель близка!

— Я знаю, — лысый еще всхлипывал. — Да, я знаю. Время пришло, — лысый вдруг возбудился и пнул ни в чем не повинную табуретку. Вскочил. — Сорок восемь лет время только уходило от меня. Сочилось сквозь пальцы, как сухой песок. Но теперь оно пришло. Судьба встала к нам раком. Надо пользоваться. Ура.

«Ура-ура», — сказали все. Повисла тишина.

— Итак, уточним, — сказал Мальтус. — Главная Площадь, 9:00. Ты, — он ткнул в лысого, — и вы двое подходите к главной двери Управления. Вхо-

дите, пропуска готовы. Ив. Мих. встречает вас после проходной. Да, Ив. Мих.?

Ив. Мих., молчавший доселе, кивнул и начал говорить:

— Да. Никто ничего не заподозрит. Вы — пришли на процедуру ре-вербовки. — Мы проходим ко мне в кабинет, берем автоматы. Спускаемся к черному входу. Там встречаем группу №2...

— Ага. Я помню, — вдруг сказал молодой, но уже седеющий человек, сидевший напротив меня. — Мы прорываемся по винтовой лестнице и захватываем Главу Управления. Охраны не будет, да?

— Не будет, — подтвердил Мальтус. — Екатерина как раз будет у него, и он отпустит охрану.

— Ладно, — сказал тот, кто сидел напротив меня. — Нам надо готовиться. Тренироваться. Мы пойдем?

— Идите, — сказал Мальтус. — Идите.

Пятеро встали и, обнявшись со всеми, кроме меня, вышли.

— Мы победим, — сказал один из них на прощание.

— Победим! Победим!

Воцарилась тишина. Все прорабатывали в голове завтрашний день, представляли, как они, невыспавшиеся, с бьющимися сердцами, чуть дрожащие, то ли от утреннего холода, то ли от нервного возбуждения, будут драться, умирать, передавать привет зарождающемуся Новому Утру. Новой Жизни.

— Я тоже пойду, — сказала Екатерина. — Мне надо Ему позвонить, — она вышла.

Екатерина уже месяц спала с Самым Главным, это и было главной составной нашего плана, нашей возможности уничтожения этой заевшейся, зарвавшейся управленческой Системы.

— Мы. Мы... Мы, — начал лысый. — Черт. Нечего сказать. Мы столько сказали друг другу за последнее время, что я хочу сказать, а нечего. Я могу лишь кричать.

— Завтра. Завтра, — сказал Мальтус. — Вдоволь накричишься. За все свои сорок восемь лет. Вам пора.

— Конечно, — сказал лысый. — Надо еще поспать. Постараться. Группа один — за мной! — И пошел к двери.

Еще двое встали и пошли за ним.

— Победа! Новое Утро!

— Победа! Мы победим!

Опять все прощались, обнимались, подбадривали друг друга, не замечая лишь меня.

Некая часть меня, автора этого рассказа, вдруг проснулась. Привет, говорит, я — Мован, твой друг детства. Здорово. «Ты как-то скучно пишешь. Ты вроде как хочешь написать что-нибудь о революции, о борьбе с Системой, но у тебя не получается. Зачем же ты пишешь об этом? Не лучше ли создавать сказки для самых маленьких?» — спросил Мован. «Я пишу этот рассказ, так как понял, что мне хочется что-то и кого-то изменить. Мне всегда раньше было похуй, слушает кто-то меня или нет. Знаешь, только слепой Гомер мог петь просто так.

С Гесиодом — та же хуйня. Или с Геосиодом. С Геолиосом». «Так тебе нужна слава, признание, поклонницы с потными письками, народ, кричащий твое имя?», — усмехнулся Мован. «Ты что. Нет, конечно. Но мне надо, чтобы то, что я пишу, кто-либо использовал, хотя бы в качестве туалетной бумаги». «Даа? Ты же их всех уродами называешь и похлеще там. Ты же мизантроп, интроверт, человеконенавистник!» «Да. Я часто думаю, кто наплодил столько уродов? Вроде рождаются такие же как я. Голенькие. А потом надевают, надевают, надевают, пока не падают под тяжестью надетого. Но мне хочется, что был кто-то, кто бы хотел развиваться. Чтобы было немного людей, которым бы понравилось, что я делаю, но чтобы я их уважал, чтобы мне не стыдно было с ними выпить». «Ути-ути. Мне хочется, мне не хочется», — передразнил меня Мован. — «Совсем самоиронию потерял за всеми этими революционными телегами. И вообще. Немного людей, много людей, да пошли они на хуй! Пусть и дальше сосут друг у друга. И у Системы. Если она есть, конечно». «Ну хорошо. Пишу, так как пишется. Не писалось бы — не писал. Логично?» «Ага. Тавтологично, — сказал Мован. — Тебе тяжело же писать». «А это потому что у меня сюжет есть. Когда есть сюжет, быстрее пишется». «И какой сюжет? Наверное, оригинальный охуенно?» «Наверное, — сказал я. — А вообще мне тяжело пишется, потому что это важно. Я могу привести аналогию, она тебя убедит, проиллюстрирует все хорошо, но она противная какая-то». «Про гов-

но, что ли, — спросил Мован. — Знаю я твою аналогю, можешь не рассказывать. И сюжет знаю. Все кончится тем, что этот, самый пламенный, как его там, Мальтус, всех их предаст. Он окажется работником Системы. И все помрут, поди...». «Да, вообще-то, — согласился я. — А про помрут ты откуда взял? Я про это еще не придумал». «А у тебя всегда все умирают. Не можешь иначе. Шекспир хуев...». «Ладно, я дальше писать буду, пока сюжет не забыл совсем». «Пиши, пиши. Я посплю пока», — с этими словами Мован, моя часть, лег на один из мозговых аксонов и через минуту уже храпел. Я вернулся за стол.

— Не спи, еб ты! Все проспидишь.

Я открыл один глаз и увидел Мальтуса. Открыл второй — Мальтус был и в нем. Он тряс меня.

Я огляделся. Все та же комната. Только кроме Мальтуса, Пло-бо и еще одного, без особо оригинального имени, никого не было.

— Скажи ему, Мальтус, скажи, — сказал тот, чье-го имени я не помнил.

— Что сказать? — я еще не проснулся и никак не мог вспомнить, что я делаю в этой комнате. А. Я делаю Революцию.

— В общем, — Мальтус сделал «интеллигентную» паузу. — Мы думаем, что предатель — ты.

— Не понял. Я?! Да вы охуели.

— Да-да. Ты. Сегодня ночь перед Великим Делом. И мы не можем рисковать. Мы знаем, кто-то предатель среди нас. Я думаю, это ты. Мы даже имени твоего не помним.

— Я тоже не помню, ну и что, — спросил я. — Это что — предательство?

— Не пизди, — сказал молчавший доселе Пло-бо и больно ударил меня ногой. — Кто тебя привел в организацию? А? Откуда ты узнал о Новом Утре?

— От Карпа.

— Конечно, — сказал Мальтус, — Карпа нет с нами сейчас, вот ты и пиздишь.

— Ага, — сказал Пло-бо, — пиздит. Еще как.

— Да пошли вы!

Тут Пло-бо меня снова ударил.

— Понимаешь, — сказал Мальтус, — мы должны точно знать, предатель ты или нет. От этого зависит судьба нашей страны. Если ты не предатель, если ты верен нашему делу, то должен сам быть готов помочь нам.

— Я готов, — сказал я.

— А. Подыгрывать нам начал, — сказал тот, кто не был ни Мальтусом, ни Пло-бо.

«Ты че, имя этому третьему придумать не можешь?» — спросил проснувшийся некстати Мован. «Могу. Но я его уже как безымянного веду». «А в этом есть глубокий литературный смысл? В безымянности?» «Да нет, просто так вышло», ответил я. «Ладно». «Ладно?». «Да ладно, ладно, — сказал Мован. — А ты что, сюжет решил изменить?». «Не знаю». «Аа-аа», — Мован зевнул и лег снова на лежанку нашу, на аксон этот. «Пусть будет Петей», — решил я.

— Есть старинный способ узнать, правду говорит человек или нет. Мы сейчас сунем тебе в рот

пустую пачку из-под сигарет. Если ты ее проглотишь, значит — у тебя есть слюна. Значит — ты не волнуешься. Значит — ты не предатель. Кто курит? Никто не курит?

— Я курю, — сказал я.

— Курит, значит, волнуется, — сказал Петя.

— Я уже 10 лет курю.

— Значит, ты не сегодня предал нас. А задолго до появления нашей Организации, — и Петя плюнул. Смачно? Не. Не смачно.

Я протянул Мальтусу пачку. Он вытряхнул оттуда сигареты и попросил:

— Скажи: «А».

— «Б», — сказал я.

И Мальтус засунул пачку мне в рот.

— Глотай!

— Глотай, — крикнул Пло-бо.

Петя лишь снова плюнул. Снова не смачно.

Пачка не залезла целиком в рот, поэтому

«Ты опять бухой пишешь», — поинтересовался Мован. «А что?» «А ни что. Как это влияет...» «На процесс творчества?» «Ха! Ты это творчеством зовешь? Это просто построение из слов, имеющее некую не явно выраженную окраску...» «Это и есть творчество». «Да-да. Творец. Ты небось себя творцом там ощущаешь. Концом бы лучше почаще ощущал!». «Да пошел ты». «Ну вот, совесть, как всегда, прогоняют. Голос разума. Голос сердца. Голос души», — и Мован притворно заплакал. Не обращая внимания на его плач, я снова вернулся к столу. «Все

возвращается на круги своя. Свои. А круги как были на воде при первом всплеске, так будут и на последнем, но будут уже больше водой и меньше кругами. То есть от искусственно возникшей искусственной ситуации они перейдут в другую материальную реальность. Примерно как непорочное зачатие, только со смыслом», — подумал я и взял перо. Потом вспомнил, что пишу авторучкой, и перо исчезло.

поэтому Пло-бо ее поглубже затолкнул.

движение света в пустоте

Я просыпаюсь с кровати в пространство своего дома, в светлое утро. Я чувствую, я есть, я существую. На настенном календаре — фотография храма Афины Паллады в огне. Рядом изображен маленький человек без шапки. И надпись — «Ты сделал это!». На календаре 21 число — я родился в этот день, много лет назад, когда был юн. Я иду на кухню и варю кофе, сопровождаемый дождем снаружи (хотя только что ясное утро). Я пью кофе и ем то, что есть у меня. Собака хочет гулять и мурлычет, будто беременная кошка. Собака хочет гулять, и я существую этим. На улице уже нет дождя, зато есть лужи, хотя вчера луж не было, это я помню. Мы идем с собакой по лужам, и я говорю с ней, хотя она не отвечает. Я говорю, что пройдут годы (или уже прошли), а я останусь здесь, потому что я вечен, потому что навсегда, я чувствую, я живой, я теплый, и боюсь смерти. Улица полна другими людьми, хотя возможно, они просто люди, а я — нет, или наоборот. Нигде не сказано, что я им родственен, мы появились из разных мест — они своим путем, я своим. Но все довольны утром, оно светлое. Люди идут работать, люди — рабочие, люди живут так, как им завещали. Я бы тоже что-

нибудь позавещал, да нечего. Зато есть собака и теперь она хочет домой (или мне так думается). Мы встречаем детей и дети видят нас, и говорят с нами. Дети говорят, что вчера видели, как я занимался черной магией, в то время как они сидели в песочнице. Мне нечего сказать детям, я обхожу их бочком и они исчезают, то ли за моей спиной, то ли вообще. Еще я встречаю дворника, он озабочен приобретением антигололедных реагентов на зиму (он полагает, что доживет), и рассказывает мне об этом. Я не знаю, где находятся реагенты, и дворник мной недоволен. Он говорит, что таких, как я, надо поганой метлой гнать. Он говорит это уже пять лет, я привык и не обижаюсь. У дворника нет левого глаза, потому, когда он щурится на утреннее солнце (и причмокивает), я обхожу его слева, я отдаляюсь от дворника.

Я сел дома и смотрю телевизор. Показывают фильм. Это фантастический боевик. Кто-то (злодей) залил взрывоопасной жидкостью один из шаров на празднике детей. Детей в фильмах часто заставляют что-либо праздновать. Полицейский пытается выяснить, какой из шаров с вредной жидкостью, и обезвредить его (шар). При этом, чтобы не лишать детей праздника, само действие не отменяют. Тут полицейскому начинают сниться странные сны (как будто сны бывают не странные). В них он общается с шарами. Шары, оказывается, обладают разумом (и думают им). Шары не хотят, чтобы их протыкали (а это единственный

способ определить, где есть вредоносная жидкость, а где нет). Тут я шары понимаю. Кому понравится, что его протыкают? Полицейский просыпается в холодном поту и долго смотрит в оконную ночь. Вскоре видения застигают полицейского повсеместно. Шары являются к нему и сообщают о том, что не надо их протыкать. Полицейский, ясно, не верит шарам и идет к психоаналитику (фильм американский). Психоаналитик советует поехать на море, отдохнуть. Дескать, заработался полицейский. Он берет отпуск и едет на море (а зовут его Джек). И вот он в шезлонге с красоткой. Тут — телефонный звонок. Звонят из полиции его города. Происходят странные вещи. Специально обученные люди, протыкающие шары, падают и бьются, и некоторые умирают. Полицейский возвращается в город. Пока он едет, ночью, в мотеле, он видит (сон), как погибают люди. Они склоняются над шарами, пытаясь их проткнуть, и тут другие шары подпрыгивают и сбрасывают на этих людей разные предметы. Когда он приезжает, то оказывается, что погибли те, кого он видел во сне. Он ждет следующей ночи и вступает с шарами в контакт.

Тут в квартире звонит телефон, и я иду к нему. Там говорят, что я скотина — у моей подруги нервы, ей надо с кем-нибудь поговорить. Я говорю с ней. Прощаюсь: «ну, хнык, пока, милый, приходи вечером, а?». Я возвращаюсь к телевизору.

Шары вступили в полноценный контакт с нашим полицейским. Из контекста я узнаю, что шары —

что-то вроде хранителей нашего биологического вида («форма спасет мир»). Не все шары разумны. Но те, которые разумны — разумны по полной программе. Кроме того, в фильме появляется девушка (фильм американский). Девушка пока есть только в видениях нашего героя. Она посредник между шарами и людьми. Герой ищет эту девушку в реальном мире (в фильме есть реальный мир). Находит. Она лежит три года в коме в больнице в захолустье (там проволока колючая и лес). Полицейский влюблен. Тем временем скоро праздник у детей. Начальство требует прокалывать шары, но те, кто их прокалывает, все гибнут и гибнут. Джек, понимая, что шары нельзя уничтожать, все-таки разумный вид, принимает предложение шаров перенестись в мир грез и найти зараженный шар. Этот шар самим шарам неизвестен. И вот Джек тоже впадает в кому. Он попадает в мир света и пустоты. Там живут шары, облака и туманность. Он говорит с шарами, узнает их, если так можно сказать, культуру. Сами шары существуют в других измерениях, нежели мы. В нашем мире есть лишь их пустая оболочка. Они никак не связаны с ней, кроме того, что когда нарушается оболочка, то шар гибнет. А вообще они не шары, а потомки супер-цивилизации Меркурия. Когда у Меркурия что-то стало не то, шары перебрались в наш мир. Они хорошие и постоянно помогают людям. Среди этих меркуриан он встречает свою любовь, посредницу между двумя мирами. Они вместе ищут зараженный шар. И находят.

Но поздно. Происходит взрыв, и дети погибают в массе (фильм американский, но неплохой). Шары, то есть меркуриане, очень сожалеют о случившемся. Но уже ничего нельзя изменить. Джек возвращается из комы и немедленно едет в захолустье к своей любви (Элен, кстати). Но Элен нет на месте. Где же Элен. Никто не знает. В это утро медсестра вошла в палату, а Элен там нет. Все полагают, что ее украл некрофил (комофил?). Джек в отчаянии. Он просит совета у шаров, но шары не отвечают ему. Постепенно Джек понимает, что с шарами что-то случилось. Что-то недоброе. Он продолжает искать Элен и летит в Африку (почему именно туда, я так и не понял). Пока он летит в самолете, фильм кончается. И где же Элен? И что случилось с шарами? Продолжение следует (фильм американский)! Смотрите «Шары-2 или что случилось с Элен».

Я выключил телевизор и тупо посмотрел на стену. Стена не знала, где Элен, весь мир не знал, где Элен, Элен исчезла. «Элен, теперь где ты?» — с горечью подумал я. Но тут же понял, что надо выбираться из культурного пространства фильма. Предоставив Джеку поиски Элен, я пошел к холодильнику, где нашел еду. Я ел и смотрел в окно, где воробьи поселились на дереве (одном) и верещали. Казалось, что дерево пело (впрочем, эта фраза не отсюда).

Был ранний вечер. Меня никто не поздравлял, лишь подруга робко намекнула, что ждет, но я отказывался по причине ее несусветности.

Я курил трубку, пока вечер, и думал о том, что вдруг, если этот день последний. Вдруг наш дворник на самом деле маньяк и сейчас придет, и заманьячит меня. Вдруг дом рухнет от гравитации пустых полей, приблизившихся к дому случайно. Вдруг у меня неизлечимая болезнь? Вдруг шары? Пусть я вечен, но такие вопросы волнуют и пугают. Я боюсь своих вопросов и потому достаю из шкафа чекушку водки и пью ее с соком. Трубка, кресло, все такое домашнее и родное, все сообщает покой, но и это пугает, покой, тишина. Много тишины. Вдруг.

Я допиваю водку, но это не то опьянение, что помогает, а то, что усугубляет. Почти автоматически я выхожу гулять с собакой. Встречаю детей, они дразнятся — «некромант, некромант, злобный враг, негодянт». Я ухожу от детей, они улюлюкают. Улю-улю — в пустом дворе, тишина в подъезде, тишина дома.

Делать мне нечего, я давно пережил тот момент, когда было что делать. У меня нет цели, у меня нет воли. Я не хочу самообмана. Звонит девушка, спрашивает, не разойтись ли нам. Нет, говорю. Я цепляюсь за девушку, потому что она уверена, что тоже живет, потому что живет еще кто-то, кроме меня, что я не один, нас много (хотя бы двое) и мы всем покажем (неважно что). Я еду к девушке, накормив до того собаку костями (собаки это едят). Но девушки нет дома, я приехал в другой дом, в чужой дом, я потерялся.

Я иду по улице из дома, который должен был оказаться с девушкой, а вместо того оказался с ко-

довым замком и злыми людьми. Я иду по улице, и мысли во мне не те, что можно думать, но те, что как бы из ничего. Мне видятся шары в своем светлом холодном мире. Пустыня бесконечного света, а внутри — ничего. Я иду по улице, и рядом другие люди, но идем раздельно. Люди идут с работы. Им не до меня, не до друг друга, не до себя. Я хочу не думать, но не могу, это мне присуще. Теперь я хочу к себе домой, там хотя бы тепло и кресло. Я прихожу и очень рад собаке. Она мой друг, все мои друзья.

Раздаются внутренние голоса. Еще звонок. Девушка. Она говорит, что я сволочь, и бросает трубку. Я ем пирог, у меня день рождения. Возможно, последний. Никто не поздравляет, никто не может поздравить. Голоса. Они внутри. Что они говорят — непонятно. Он шепчутся. У них от меня есть тайна.

А день кончается, и приходит ночь. И ночью все спят. Все спят таким образом, что им уютно. Я тоже скоро буду спать — уют хорошо. Я стелю кровать. Я моюсь. Я чищу зубы. Я ложусь в темноту из пространства своего дома. Я собираюсь спать. «Вдруг шары?» — думается мне. Но нет, не надо. Я сплю, это мой последний сон, который будет длиться вечно. Утро было раньше, теперь иначе. Во сне моем нет шаров, тут много другого, но шаров нет. И меня нет (хотя и сплю). Я погас, я ушел, я с другой стороны (хотя как посмотреть). Тут яблоки — но это для богатых. Все, что имеет смысл — уже сказано. Наше время — время, когда смысл кончился, а значит, может исчезнуть и само время. Мы можем

быть лишь действием света. Свет падает, и поверхность отражает свет, часть его жадно оставляя себе. Представления о том, что мы способны отразить еще что-то — суть ересь. Конечно, есть идея сингулярности, она может помочь, но я не знаю, о чем эта идея и где. И идет сон, сон без шаров. Я вышел, и повседневность кончилось новой вечностью. Я не боюсь, хотя и надо бы. Я ведь теперь ничто — лишь движение света в пустоте.

семеро против фив

Кухулин. Город Фивы необычайно красив. Там много храмов, дворцов, портиков и прочего барокко. Но знаменит город Фивы своими воротами, числом семь. Семь — известное число, а греки очень любили числа, они ими считали. Город Фивы был древний, там жили прекрасные люди, а в фонтане на центральной площади был пол с изумрудным кафелем. Однако, несмотря на свою чарующую прелестность, Фивы оставались городом и потому требовали разрушения. Семь героев, которые должны были этим заняться, относились к Фивам с симпатией и даже были женаты на местных жителях (по крайней мере, некоторые из них). Герои вышли ночью, пришли в Фивы днем. Они встали у городских стен, готовые к разрушению. Каждый входит через свои ворота. Герои определили, кто с какой стороны войдет в город. Потом герои позавтракали. После завтрака, отведав молодого красного вина, к Фивам направился Полиник. Полиник был героем, хоть и с небезупречной родословной. Его брат был одновременно и его отцом, он преступно сожительствовал с матерью, не ведая своей злосчастной судьбы. Иногда Полиника беспокоил этот факт, и он страдал в простыне ночи.

Но такое случалось нечасто, так как нрава Полинник был буйного, и буйствовал большую часть отпущенного ему времени. Полинник вошел в северо-западные ворота. Пройдя несколько шагов, Полинник схватился за сердце и долго лежал так, пока не умер. Это происшествие озадачило героев. Однако от плана своего они не отступились. Аль-Моверан, отобедав, двинулся к городу. И почти сейчас же за ним последовали Иоанес и Тод, Готес Тод. Участь, что была им уготована, скоро прояснилась. Войдя, каждый со своей стороны, в город, они почувствовали недомогание, каждый по-разному, в меру своей способности чувствовать, и сгибли вскорости. Наметившаяся тенденция немного озадачила оставшихся, но они были героями, а город подлежал разрушению. Конечно, погибший герой — всего лишь труп, а трупом быть никто не хочет, более того, герой, бесславно гибнущий, тем самым как бы показывает, что он вовсе не герой, и именно это чуточку смущало. Однако они все искренне полагали себя героями и отступать от намеренного не собирались. Торкаст и Девкопол, разорвав свою обычно двуединую сущность, пошли к городу, правда, лишь после того, как все вместе отобедали. Они вошли — один с юга, другой с севера, но в ту же секунду упали, сраженные. Чем они были сражены — никто до конца не разобрался: то ли молнией, то ли громом, но в божественном вмешательстве никто не сомневался. Разозленный, Ахилл бросился к городу, только пятки сверкали. Он вбежал в ворота и огля-

нулся, ожидая скорую смерть. Смерть не заставила себя ждать. К ужину в лагере героев никто не прикоснулся.

Герои и не думали, что не в каждый город можно войти через ворота, также как часто нельзя понять смысл сказанного из слов. Литература тем отличается от реальности, что она обычно оставляет героям лазейку, выход, ружье на стене, чтобы они могли после всех испытаний одержать достойную победу. Потому как литература героев любит, а реальность — нет.

Направляясь в Фивы, герои взяли с собой мальчика, нести поклажу. Мальчик пригодился. У этого мальчика, как и у многих людей, есть имя. Скоро вы его услышите. Где-то совсем далеко от Фив, смотря в серое небо и лаская слух, называя мир поднебесьем, я оставляю лазейку, проход сквозь стены, чтобы города могли пасть и бесконечность искриться. Вот эта лазейка: Кухулин.

жизнь и смерть в префектуре сибуя

Я никогда не был в префектуре Сибуя, и не знаю где это находится. Возможно это в Японии, возможно, Япония в этом. Знаю, что в Японии жил мастер меча Такуан, он любил квашеный редис. Такуан умер, глотая свои слюни. Некоторые вещи, не такие, как кажутся. Другие такие, как кажутся. Третьи просто кажутся. Я могу говорить о последних. Говорят, когда утром цвела вишня, у Такуана пропадал аппетит. Говорят, когда утром цвела вишня, у Такуана пробуждался аппетит. Говорят, утром цвела вишня. Некоторые любят поговорить.

Тем временем он зашел в темную комнату. На улице был дождь. Он промок. Он дрожал. Где-то в комнате, на стуле, сидела женщина и курила. Запах сигарет иногда противен. Женщина сказала «здравствуй». Он дрожал. Он спросил сколько. «Двести пятьдесят», — сказала женщина. Он достал из кармана деньги и положил на столик. Столик тоже был в этой комнате. Молчание. Спустя три минуты (женщина курила) он стал раздеваться. Он снимал одежду и клал ее на пол, аккуратно складывая. Положить свои вещи еще куда-нибудь он постеснялся. Перед тем, как снять трусы, он немно-

го замешкался. Мыслей в голове не было. Он снял трусы. Где-то в темноте улыбнулась женщина. Теперь он стоял голый посреди комнаты. Его большой некрасивый волосатый живот почти полностью скрывал его маленький пенис. Пенис пугливо забился в складки живота и жил там своей нехитрой жизнью. Женщина потушила сигарету и подошла к нему. Сердце билось, очень хотелось выбежать из комнаты. Убежать. Хотелось громко закричать. Он дрожал. Чего-то очень хотелось и не хотелось одновременно. Женщина прикоснулась к нему собою и поцеловала в губы. «В первый раз?» — спросила она участливо. Он покачал головой. Вслух сказал: «Н...да». Женщина сняла халат. Под ним был неглаженный лифчик (он не знал, гладят лифчики или нет, но этот лифчик выглядел неглаженным) и трусики. «Ажурные», — назвал он их. Женщина положила его ладонь на свою левую грудь и, прикрыв своей ладонью, стала плавно втирать. Все выглядело крайне глупо. Она взяла его за руку и повела к кровати. По пути она сняла трусики. Вагина была небритой, волос было много. Волосы его испугали и обрадовали одновременно. Волосы делали ситуацию реальной и одновременно сообщали ей нездоровый оттенок непонятного чужого бытия. Малые половые губы выступали, отчего вагина женщины походила на бантик. Он знал о женской физиологии больше многих женщин. «В первый раз, голубочек», — как бы для себя сказала женщина. Теперь они находились на кровати. Она лежала, он сидел.

Женщина облизала пальцы и смочила вагину. Потом она опять взяла его ладонь в свою и потянула ее в щель. Из него как будто выпили волю. Он хотел, чтобы все побыстрее закончилось. Он хотел солнце, улицу и свое обновленное мироощущение. Правда, сейчас дождливо. Часто идут дожди. Его пальцы вошли в нее. Она было довольно сухой. Он помассировал внутри. «Вот, молодец», — сказала женщина без выражения. «А где там наша пипочка, сейчас мы займемся нашей пипочкой», — с материнской лаской стала говорить женщина, — нука. Где там пипочка?» Такое наименование его члена смутило его сильнее, чем что бы то ни было из происшедшего. Он привык к более грубым названиям. Тем временем нашлась «пипочка». Женщина нежно водила рукой по члену, постепенно увеличивая силу. Член встал. Он возбужденно задышал, вся предыдущая нелепость ситуации, все его волнения ушли. «Я... хочу... введи меня», говорил он. Женщина сказала четко поставленным возбужденным шепотом: «Сейчас голубчик, сейчас». Она придвинулась поближе. Теперь он лежал, закрыв глаза. Женщина полулегла на него. Она продолжала ласкать его член, постепенно придвигаясь к нему своими бедрами. Он попытался сдержаться, но не смог. Он кончил ей в руку. «Ой», — сказал он, не веря. Он открыл глаза и удостоверился. «Ёёёё», — захныкал он. «Ничего, ничего, — говорила женщина. — Отдохни, так бывает, а потом...». «У меня только на сорок минут, — пробормотал он. — У меня боль-

ше нет денег, это все, что я смог накопить». «У тебя еще полчаса, успокойся, — сказала женщина. — Кроме того, ты вполне можешь считать, что ты уже мужчина». «Ты вел себя... молодец», — добавила она в сторону. «Нет. Я не смог, — сказал он. — Я неудачник, я не мужчина, я слабак!», — бормотал он, ненавидя и презирая себя. «Мы все сделаем, мы сейчас все сделаем», — говорила женщина, уже не скрывая своего отвращения. Женщина взяла его член и с остервенением принялась мастурбировать. Потом она попыталась ртом. Полчаса прошли быстро, но у него так и не встал снова. «Жаль, но тебе придется уйти, заходи еще», — сказала женщина, отвратительно по-матерински улыбаясь. Он, не пытаясь возражать, как будто ожидая этих слов (и он действительно ждал их), стал быстро одеваться. Он оделся. «До свидания, спасибо», — он медленно пятился из комнаты. Выйдя, он бегом выбежал из здания. На улице был дождь. Стараясь ни о чем не думать, он быстро бежал под дождем по направлению к своему дому. Надо успеть на ужин. Жизнь и смерть в префектуре Сибуя шли своим чередом.

Сколько нежности во мне, бля. Так бы и играл с настиной бровью. День. Два. Три. Куда деть-то непонятность свою? Нежность. Кусать Настю за сиську, пока не сжевать всю. Да, Настя. Я люблю Настю? Нет. Она мне нравится? Да. Я ей нравлюсь? Да. И что? И ничего. Некого погладить? Погладь свою собачку. Погладь свой хер. Скучно? Так дел-то до хуя накопилась. Лень. Все лень. Это же страшно, когда понимаешь, что единственное, что тебе действительно нужно, без чего не обойдешься — так это сигарета. Нет. Не из-за зависимости. Должно мне быть нужно хоть что. Настя нужна? А зачем? Гулять с ней? Идиотизм. Трахать? Так это когда. Да и не особо хочется. Хочется чесать ее кости. Лежать на ее животе. Слушать ее милое дыхание. Смотреть ей глаза в глаза. С бровью играть. Бровь — тема. Она выщипана отчасти. По ней проведешь против шерстки — так она лохматой вроде станет. Клевая. Разве можно в Настю хуй совать? Так это ж преступление. Смысл какой ж есть разве. Туда-сюда. Не, приятно, наверное. Но лучше с бровкой играть. Нам с Настей и говорить тяжело. Уйдет в себя она — не откопашь. Я говорю — я трепло. Ее что спросишь — да, нет, класс-

но, интересно, не интересно. Еще она мне не верит. И грустит чего-то. Молча. А ты как идиот рядом сидишь. Идиллия, короче. Настя симпатичная. Жутко. Интересная. Ну и что? Занятие я себе придумал: ухаживать. Ненавижу это все. Цветы там подарил, в кино ходил, шампанского попил. Дальше что? Контакта все равно нет. Поцеловать ее, что ли. Занятие будет. Хотя у меня уздечка под языком слабая — рваться будет. Того разве стоит? Жаль уздечку. Своя, знакомая. Страшно все-таки совать елду в Настю. Мою елду. Не то чтобы она у меня некондиционная какая. Елда как елда. Все равно странно это. А вот большой палец ноги я бы в нее без зазрения просунул. Забавно. Могу себе это представить.

А тут еще и жизнь говно. Ничего хорошего. То ничего не происходит, то надо хуйней всякой заниматься. И все на фоне ублюдочной системы. Людей всяких мрачных. Настя считает, что я нормальный. Ха! Я самый ебанутый из всех ебанутых. Я нервный. Я депрессивный. Мрачный. Злой. Агрессивный. Нетактичный. Да я готов кобылу в жопу трахнуть! Я могу кирпичом проломить башку любому прохожему! Я в запой бы ушел месяцев на пять спокойно. Все остоебло. А более — те, которым все остоебло. Дебилы, общения хотят. Поговорить не с кем, придуркам прыщавым. Для них интернету изобрели. Чтобы они на клавиатуры кончали. Да они любой бабе сунут — лишь кто ноги чуть раздвинет. Они за сто дензнаков отсосут за милую душу. И чтобы есть японскую еду, всю жизнь

будут в восемь утра вставать. Мудачье. Я уж лучше одной картошкой обойдусь. Знают все, бя. К независимому стремятся. Ни хуя, нету независимого ничего. Все за блядскую премию забудут про свой андерграунд. Примазались к моему одиночеству. Ненавижу уродов. Эстетика — она человека облагораживает.

Я бедный. А настин папа буржуй крутой. Нетути денег с Настей ходить в бар. А гулять просто — ненавижу. Все это под ручку, под ножку, беседы о высоком. Да я бы молчал всю жизнь. Надоело говорить. Какой смысл? Слова — не более чем они сами. Нет у нас с Настей перспективы. Не будет. Вот влюбись я в нее. Хотя бы стимул был. Непонятно. Настя же вправду дико приятственной внешности, жестов, мимики. Настюха (ей не нравится, если я так ее называю). Настя. Грустно ей. Хули ей-то грустно? Погрустить захотелось. Парня бывшего вспомнила? Так и что. Проблемы себе каждый напридумывать горазд.

— **Н**апиши, например, про любовь... — сказал мне мой друг, пытаясь попасть солнечным зайчиком, прирученным с помощью полупустой бутылки пива, мне в глаз. — А то ты все про энтропию, деструкцию, девиантное поведение выдаешь. И «хуй» на каждой странице. Много, много мата. Так, блядь, нельзя.

— Ну это же честно. Я так с тобой разговариваю, с собой. Ну и с ублюдками разномастными.

— Честно. Ха! Но ты же не станешь есть при всех свои козявки, говоря, что ты их ешь, когда один, значит — честно их есть при всех.

— Я не ем козявок.

— Хорошо. (Хотя ты многое теряешь.) Представь, что ты решил походить без штанов по улице. Почему ты так не делаешь?

— Так дядя милиционер меня больно ударит.

— А тут — тетя редактор. Напиши просто, без всей этой «блядщины», про нормальные человеческие чувства. Про светлый мир и его прекрасных жителей. А то ты никогда не попадешь в хрестоматии. И имя твое, твою мать, будет красоваться лишь на стенах мужских туалетов, написанное мочой, но никогда, слышишь — никогда — на стенах женских,

нарисованное дорогой помадой, и с подписью, вечно твоя, Оля.

— Оля? А, Оля. Оленька.

Ладно. Вот вам про любовь: любви все возрасты покорны. Любишь — люби открыто. Спит красавица в гробу, я подкрался и... тьфу, не то.

Любовь бывает разная. Мужчина с женщиной. Женщина с себе подобной, мужчина с мужчиной, мужчина с крупным рогатым скотом.

[...] мезальянс (когда с сыном царя), адюльтер — когда со всеми остальными, ипсация — когда наедине с собой, как Марк Аврелий.

Любовь бывает физическая и... и... ну и, наверное еще какая-то. А! Платоническая. Это когда хочешь физической, но об этом не говоришь.

А теперь про Олю. Ее фамилия — Нормандская. Слишком большая фамилия для такой маленькой девочки. Оля реально существующий персонаж, в отличие от моего друга (он — сборная солянка более ранних апокрифов). Оля — это та девочка, которую я люблю (или любил). В этом роде она единственная. Я любил ее именно платонично. То есть никогда не ебал. Следовательно, дальнейший рассказ имеет смысл лишь в том случае, если я что-нибудь придумаю. Ведь писать о существе не то что никогда не ебаном, но даже и чей внутренний мир абсолютно неизведан, могли лишь французские авторы-мастурбаторы прошлого века. Я не такой. Покуда ничего не придумывается, пофилософствуем. Любовь — сложное чувство, обостренная, больная

симпатия к человеку или к корове. «Пора погулять с собакой», — решил я. «Иду, иду», — ответил себе. И я оделся, свистнул и вышел на лестницу, а там, обнявшись, стояла парочка. Я был уверен, что и на обратном пути они будут также слеплены, как пельмени некачественной лепки. Я вошел в лифт. В лифте на стене была нарисована грудь Нюры, с седьмого этажа, я сразу ее узнал. Вспомнил, как два года назад Нюра, тогда еще школьница, упала с лестницы. Мы с Самуэлем Эдуардовичем стали делать ей прямой массаж сердца, разорвав для этой цели майку и сорвав лифчик. Самуэлю пришлось на ней жениться, когда она очнулась, как «честному человеку». За время супружеской жизни она его так задолбала (я написал не заебала, я заменил некультурное слово его синонимом!), что он стал мстить ей путем рисования различных частей ее тела в лифте, на лестнице, в подъезде. Сегодня была, как я уже сказал, грудь. Я вышел на улицу и разрешил собаке пасть и есть снег. Что она и начала претворять в жизнь. Я решил закурить. Закурил. Посмотрел на звезды, выбрал самую большую и погрозил ей пальцем. Мол, не пизди, лампочка хуева. Я свистнул (позвал то бишь) собаку и мы пошли домой. В другом лифте лежал чей-то зуб. «Выбили», — догадался я. На этаже все еще стояли давешние любовнички. Она, видимо, рассказывала ему о том, как никто ее не любит. Он говорил, что ну как же, любит, он любит, он хочет (напрямую прямо сейчас). Что, здесь? — интересовалась она. Он кивал и сжимал ее крепко-крепко (он думал,

так должен обнимать настоящий мужик). Я иначе себе представляла это; она уже соглашалась. Потом она провела своим большим асексуальным ногтем по его шее (такие ногти должны быть у настоящей женщины) и снова положила голову (так и хотел написать «свое ебало», но сдержался) на его плечо. «Конечно, они не трахнутся сегодня на моей лестнице. Ни он, ни она к этому не готовы. Но зато они вдоволь об этом наговорятся, что позволит им вечером в своих квартирках с большим кайфом и новыми мыслями дотрагиваться до своих гениталий», — заключил я и пошел есть пельмени. Вернее, вначале варить, но процесс готовки — суть ментальное употребление пищи, то есть тоже относится к процессу еды. Пельмени варились крайне аутентично, всем своим видом показывая, что и без меня приготовятся. И я пошел на улицу курить. Там была только девушка. Она спросила (скорее меня, чем себя): «Почему все мужики — скоты?». «Это потому, что все бабы — суки», — ответил я. «Что?». «Я хочу сказать, что у мужчин есть специальный фермент, который заставляет их мучить женщин, зачастую — без их желания. Этот фермент катализирует процессы антигендерной направленности. И мужик или становится пидорасом, или начинает обижать слабый пол».

— Да? А как с этим бороться?

— Делать вид, что ты всех мужиков в гробу видала.

— Сейчас попытаюсь... Но я не могу представить вас в гробу!

- Правильно, это потому что я бессмертный.
- Правда??? – она задумалась. – Клево, наверное.
- Угу.
- Так мой Вася пидорком может стать, если не будет меня обижать?
- Да. А если не будет общаться с тобой посредством пениса – то точно.

Она ушла бес слов. Сигарета кончилась, и я закурил еще одну. Я люблю курить по две – вот что достойно любви. Сигареты! Тут вернулся ее друг, Вася, по-видимому, и сказал: «Ты оскорбил мою девушку. Ты назвал ее нежный анус «дыркой»!» «Не было такого». «Но ты так думаешь?». «Ну, анус по своей сути не что иное как дырка...». Тут он дал мне по носу и ушел. Дома я поел пельмешек, помазал носяру йодом и сел читать книгу «Убить Редактора» одного японского автора. «Когда я написал свой первый роман и принес его в издательство, редактор был очень мною недоволен. «Слишком большой акцент делается на том, на чем акцента делать не нужно. А некоторые места звучат совсем не по-русски», – прокричал редактор. Все мои попытки убедить его в том, что я пишу по-японски, не увенчались успехом. Я вынужден был убить редактора. Следующий редактор отнесся к моему творчеству также без восторга и последовал за первым. Третий оказался умнее. Теперь, подержав в руках Фолкнеровскую премию и трахнув английскую королеву, я думаю, что грех убийства смыт миллионными тиражами моих книг...»

Я пишу этот рассказ для Насти. Не то чтобы я хочу произвести на нее впечатление. И не потому, что я не могу иначе с ней поговорить. Нет. Просто Настя попросила что-нибудь почитать. А я не могу давать старые рассказы. Они ведь как выдохшееся вино. Пьянит, но теряет свой вкус. Таким образом старые рассказы приобретают посторонний вкус. Они проходят через чужие руки, через чужое дыхание, сквозь чьи-то мысли. Этот рассказ должен быть девственным к тому моменту, когда его прочтет Настя. Таким образом, она прочтет именно то, что я написал, пусть и с пылинками и воздушными водоворотиками, которые попадут на бумагу, когда я буду нести ей этот рассказ. Вообще, лучше писать для себя. Но бывает, нечего себе рассказать. Нечего поведать и людям. Но всегда можно что-то поведать Насте. Одному рассказывать проще. Правильнее писать для Насти, чем для издательства, понуждаемый договором и возможностью денег. Настя может улыбнуться, а деньги не умеют. Они могут принести смех и радость. Но их пока не обучили улыбаться. Это к лучшему. Далее. Я не знаю ни о прошлом, ни о будущем. По крайней мере не могу выразить, что знаю, в словах. В настоящем же

я сам, я его заполнил. Мне и самому в нем тесно, тем более, если в нем поселятся и мои слова. Они будут просить корма, тараша на меня свои глаза — буквы «О». Они станут вилять хвостом, просить их погладить, игриво ущипнуть. Им нужна моя в них уверенность, моя подпитка. Когда слова просят, это жалкое зрелище. Поэтому то, что будет рассказано, не будет находиться во времени. Это сказка. Собственно:

Кусочки плавленого солнечного света лежали во дворе Замка, хотя солнце уже скрывалось (блин. Никогда не помню, куда садится солнце: на запад или на восток. Пусть садится за горой). Повара играли во дворе в преферанс. Замок скрипел, постепенно готовясь к ночи. Все тихо. Повара думают, что им слышно, как растет трава. Не так. Это мыши обедают в подвале. В подвале сыро. Там — уже упоминавшиеся мыши и разные запасы — еда. Еще там живет Ир. *«Кто такой Ир?» — спросила Настя. «Не знаю, — сказал я тихо, боясь разбудить себя, — но Ир живет именно там».* В подвале темно и боязно. Поднимаемся. Второй этаж пуст. Заглядываем всюду, где можно видеть — никого. Смотрим туда, где видеть нельзя — тоже никого. Третий этаж — и — удача. В спальне — Король и Королева. Король лежит на ее животе, и слушает, как существует внутри его жена. Он слышит удары ее сердца, слышит, как соки, воды и кровь текут туда-сюда, как лимфа зреет в узлах, как нервы распрямляются. Он чувствует, что она слегка потеет. Горят дрова в камине. Он утыкается лицом в Королеву и начинает слегка

жевать ее кожу. Потом они развлекаются тем, что сворачивают уши друг другу в трубочки. И разворачивают. Далее он дует в ее уши, она в его. Еще он гладит ее ногой. Да. Ногой. Еще он нюхает ее руки — они пахнут по-разному. Левая пахнет часами, правая сигаретами. Король так счастлив, что даже не хочет курить. Что полностью устраивает Королеву, которая не любит запах табака, хотя любит курить. Затем она, Королева, и живет. Чтобы Король не курил. Она, понятное дело, не согласна с таким решением смысла ее жизни. Впрочем, повторяю, она существует не для того, чтобы быть со мной согласной, а чтобы отрывать Короля от курения. Хотя не согласен и Король. Ладно. Пусть живет затем, зачем хочет. Ну глупость я сказал. Бывает. Итак, они играют. А в соседней комнате инфантильный инфант мастурбирует. Откуда взялся инфант, никто не знает. *«А кто такой инфант? Он кто кому? В каких родственных отношениях он с Королем?»* — заинтересовалась Настя. *«Инфант — он на то и инфант, чтобы быть самим собой. Быть никому никем, — сказал я глубокомысленно, так как не знал. — Спроси лучше у него».* *«Простите, а вы Королю кто? Зачем?»* — спросила Настя у инфанта. *Тот, перестав дрожить, что-то ответил и снова погружился в свое занятие. «Что он сказал», — спросила Настя. «Он сказал, что он не расслышал вопроса», ответил я.* Инфант мастурбировал с рождения и не смущался. Ему не запрещали, и в итоге он потерял интерес к женщинам, к мужчинам и к коровам.

Лишь герань его интересовала, он любил ее скрещивать. В его комнате стояло пятьсот два горшка с геранью девяноста трех видов. В комнате не было камина, поэтому в холода он прислонялся к стене, где по другую сторону жили Король и Королева, которые грели друг друга пятки волосами. Инфант прислонялся к стене, за которой стоял камин, и ему становилось теплее. Не от камина. От сознания того, что камин там есть. *«Как может греть сознание?» — это Настя влезла в сказку. Стараясь быть вежливым, я ответил: «Так же, как и камин — если подбросить туда дров, будет греть. Жаль, мало кто знает, какие именно дрова нужны». Настя вроде обиделась. «Что значит «стараясь быть вежливым»? Тебе неприятно мое присутствие?» «Нет. Просто вежливость у меня не от природы, поэтому, чтобы ее проявить, надо постараться, — выкрутился я. — Чтобы оправдать смысл в одних словах, надо в оправдание вложить смысла поменьше».* Инфант был несчастен. Он ничего не делал, никого не любил и редко выходил на солнечный свет. Он жил ночью. Ночью он бродил по дворцу, проверял, не трахаются ли повара с горничными, ловил мышей и иногда выл на луну. Он хотел стать волком. Но ленился. Днем он вел растительный образ жизни. Спал, ел, иногда пил. В целом это неинтересная личность. Уж не помню, зачем он мне в сказке понадобился. Пригодится. Такой человек всегда может совершить нечто неожиданное, притом это не будет нарушать логики сюжета.

МОЯ КОШКА

Если все время отрезать кошке хвост, то в знак противоречия она перестанет есть и будет просвечивать. Может начать нести яйца, но это клинический случай. Была у меня кошка. Отрезая кусочки от ее хвоста, я чувствовал движение времени, легкое дуновение осени, кристальность зимы, весну, которую я не люблю и не награждаю банальным эпитетом. Когда хвост кончился, я не знал, что делать. Кошка есть. Хвоста нет. Нечего отрезать. Надо сказать, что с отрезанием я свыкся, оно стало мне родным и близким, как далекая Тула бороатым викингам. Не мог я без него, о чем и оповестил всех, кого встретил позже. Чем еще сильнее упал в их глазах (и в некоторых разбился). Метафоричность кошкиного хвоста не давала мне покоя, я верил в кошкин хвост. Я слышал ее мяуканье из потаенных пыльных углов своей комнаты, она скреблась под кроватью по ночам. Когда я возвращался с хлебом и молоком из магазина, вещи были разбросаны. Она игралась тут без меня, без робости и смущения, как большая. Искала домового и, находя, гоняла. Потом ее не подкрепляемое ничем наличие стало надоедать. Соседи, правда, жаловались на поскреб и визг животный, но со-

седи жалуются на все, жалуются заранее. Она нагло исчезала при разговоре с ней, хотела веры.

В один из дней (их вообще много, можно выбрать), в день, когда кошка просвечивала пуше обычного, я понял смысл жизни. Как бывает, я курил трубку, сидя на подоконнике, обняв свои большие квадратные колени и теребя умирающую на пятках кожу. Взгляд, обращенный в окно. Взгляд мой, он был на дереве, где прыгал с ветки на ветку, как замерзшая ворона. Когда я переместил свой взор на ветвь, что была второй снизу, я наткнулся на коренное отличие этой ветви от прочих. «Надо же, какая ветвь, — еще подумал я. — Целое дерево жизни!» — я был безнадежно испорчен литературой, впрочем, это не помешало. Итак, на ветке, помимо сучков и слаборазвитой зелени, находилась доска, на которых, случается, пишут. На доске было написано слово, которое масоны потеряли, когда были маленькими девочками. Слово, которого я никогда не слышал, слово первозыка. Им первосвященник крестил первочеловека. Если, конечно, эта полуобезьяна уже была настолько социализирована, чтобы заниматься подобным идиотизмом. Слово, смысл которого я понял, выражало смысл жизни. Как и полагается, сумма его цифр (при переводе из букв) составляла 365, слово стояло в квадратных скобочках, как догадка комментатора, первая буква была большая. Слово было написано красной краской. Естественно, я его не скажу. Хотя бы потому, что оно из другого алфавита и эпохи, не

написать его, да и красной краски нет. Ну, так я узнал смысл жизни. Соседи, которых я оповестил, на слово смотреть отказались. Вот их малый сын посмотрел и теперь левитирует в своей комнате, отказывая себе в посещении школы и просмотре футбола по телевизору.

Узнав смысл жизни, я три дня ел одни макароны. Сухие, я боялся огня. Кошка не показывалась, проникнувшись величием момента. «Больше не игрушки», — сознавала кошка, зябко чувствуя себя, кутаясь в подкроватную пыль. Тем временем Слово, увидев, что лишь я проявил к нему интерес (юный левитатор не в счет), оскорбленное, исчезло, даже слилось с названием автобусной остановки. Слилось, и вроде как его нет совсем. Но меня уже не поменять. Я-то понял! Всевозможных божеств формы оставляю в одиночестве. Теперь я вот.

Когда вышла кошка, был вечер. Вечер сейчас практически всегда. Солнце устало. Я взял кошку за хвост и выбросил в окно. Разбилась. Почему взял за хвост? Ведь если кошки на самом деле нет, то хвоста тоже нет. Нельзя за хвост. И наоборот. Почему бы не придумать, что у кошки отрос новый, распушистый, трехцветный хвост? Вполне можно придумать, никто не мешает. С другой стороны, если кошки моей нет вовсе, то кто же разбился внизу, брошенный? Мои надежды, моя молодость. Конечно, нет. Моя кошка. А вот если кошка имеется, то как ее можно взять за хвост, который был отрезан. Отрезан давеча. Нельзя никак. Нехорошо

брать за отрезанный хвост — все равно что предлагать безногому посостязаться в беге на 110 метров с барьерами. Как будто он без барьеров пробежит. В общем, ладно. Выкинул и выкинул. Никто тут теперь не ходит. Тихо. Лишь легкий шум от маленького левитатора, шум издают вялорастущие антикрылья. Когда ты знаешь смысл бытия, вполне можешь знать, что у тебя есть антикрылья. Подкрылки у малыша режутся.

Кошка догнивает внизу. Слитое с названием автобусной остановки Слово подмигивает своим левым слогом, птицы падают, увязнув в утреннем эфире, под гнетом сумерек просыпаются самоубийцы, звук неумелой левитации внизу, желание снега и почти вскипевший сладкий кофе. Это потом. Потом сидел я, болтая ногами, на подоконнике, положительно оценивая зеленый цвет своей батареи. Сидел и все-все знал. Жаль, что пушистый не скребется. Мне сладко-грустно. Жаль, что не вылезит, виновато скалясь, пыльное андрогинное животное создание из-под кровати. Не трется головой о ногу. И никогда не выйдет.

■ ■ ■ К
 когда я трогаю ее руку, она вскрикивает. И убегает. Я бегу за ней. Темная улица. Пахнет лужами. Только силуэт впереди — вот и вся она в моем сейчас. Дальше. Другая улица. Поют птицы: уже утро. Ее спина. Хорошая. Я хотел бы спать на ее спине. Или на животе. Чувствовать ее дыхание. Знать, когда она сглотнет, когда зевнет, слышать ее тело. Она бежит с трудом. Пригород. Утренние жители улыбаются, они еще видят свои сны. Мы тоже часть их ежедневного сна. Часть той жизни, когда они думают — по пути с работы и на нее. Бежим. Город все не кончается. Спина все ближе. Тяжело дышу. Она, наверное, тоже. Я знаю, она плачет. Плач мешает бегу. Она слаба духом, поэтому я ее догоню. Город кончился. Поле. Тут я ее настигаю. Я валю ее на землю. Борьба. Она кусается. Потом признает свое поражение. Я отрезаю ее верхнюю губу и ухожу. Я иду в город. Губа в моем кармане, завернутая в носовой платок. Губа. Я останавливаюсь. Осматриваю губу. Вполне обычная. Я видел и более интересные губы. Я пробую губу на вкус — вкус крови. Это пройдет. Вижу, что девушка идет следом, шатается и плачет. Потом падает. Поднимается, идет, орет. Тут на дороге по-

является пастух и его десять коз. Он проходит мимо меня, склонив голову в почтительном приветствии. Потом подходит к девушке и вежливо просит не кричать. Она пытается ему что-то сказать, указывая на меня. Тогда он бьет ее кулаком в лицо. И так несколько раз. Девушка падает и, похоже, умирает. В любом случае, козы ее съедают. Потом пастух возвращается ко мне, и мы курим ее трубку. Потом я пью молоко прямо из сосца козы. Теплое, нежное. Пастух хочет продать мне свою младшую дочь. Сколько, спрашиваю я? Две губы, говорит он. Она очень красивая, его дочь. И крепкая. У нее есть все зубы. И она девственница. Откуда он знает? Проверяет каждый вечер. Он лежалый товар не предлагает, девка в самом соку — четырнадцать лет. Но мне не нужна его дочь. Я живу в городе, мне негде поставить ее конуру. Она прекрасно поживет под кроватью, говорит он. У вас высокая кровать, господин? Я киваю. Она может жить и в шкафу. Но я не смогу ее кормить. Это и не нужно. Мы оба понимаем — она не жилец. Поживет месяц — и пожалуйста. Отличная девка. Почему тогда две губы всего? Сама она губастая? О, да. А две губы — так буйная она. Но господин справится, он сильный. Буйная? Так даже интересней. Я соглашаюсь. Мы идем к нему. Утренний псевдотуман перестает нас окутывать, уходит. Немного солнца появляется в небе. Мы идем по деревне. Деревья приветственно шелестят. Ветерок. Иногда то тут, то там хрюкает свинья. Мы входим в его дом. Его брат приводит девуку.

Она среднего роста. Загорелая. Под ее хламидкой видны твердые маленькие груди. У нее сильные ноги. Интересное лицо. Голубые глаза, темные волосы. Губы. Я никогда не видел таких губ. Большие, выразительные. Но твердые. Такие не подвластны трупному окоченению. Пастух дурак. За такие губы можно получить штук десять, причем отличных, негритянских. Мне везет. Отвезти ее чуть подальше, отрезать губу и пусть идет обратно. Я быстро расплатился и повел за поводок. Ее зовут Астри, зачем-то сказал пастух.

дорфман умер

...ибо Мир любит Мрак

Мани

Дорфман умер. Весть о трагической кончине Саши Дорфмана. Что вы делали, когда умер (он)? Что? Что-то делали? Делали и делали. Итак. Жил-был Дорфман. Вскорости Дорфман умер. Страшная, непонятная смерть. Почему так? Из жизни уходят самые лучшие, самые светлые люди. Он подавал надежды. Давайте я подам вам надежду? И подавал, подавал. Печально-то как все вокруг. Немного горести поутру. Всем Дорфмана жаль, все скорбят.

В моем институте, когда кто-то умирает, об этом незамедлительно сообщается. При входе, в холле, около колонны, столик, на нем кусочек красной материи (один и тот же? Его стирают или нет? Каким порошком пользуются?), четные гвоздики в вазе, небольшое сообщение, фотография. У Дормана фотографии не оказалось, он боялся фотографироваться, считая, что теряет таким образом немножко души (души светлой, души прекрасной). Дорфман был оригинальным человеком. Все умирают трагично, рано уходят из жизни и вообще все мертвые за-

мечательные и чудесные люди, у них много заслуг, регалий и друзей. Только я живой мудака. Что я делал во время смерти Дорфмана? Где я мог быть? Пил, курил, ублажал разномастно плоть? Что-то делал. А Дорфман возьми и умри. Стою, смотрю на бумажку, о смерти Дорфмана возвещающую. Хожу кругами. Горестный взгляд проходящих. Или стыдливо глаза прячут (их выражение) или охают, ойкают, выражают скорбь и сочувствие. Загрузиться донельзя смертью Дорфмана. Пусть его смерть меня изменит. Заставить себя ощущать утрату и немного поплакать, стать другим человеком после. Измениться. Смерть Дорфмана оказала на меня неизгладимое впечатление. Что вас подвигло к деятельности благостной, той что занимаетесь Вы? Что? Смерть Дорфмана? Сразу стать сознательным, хорошим и нужным обществу, подружиться с ним, слиться в экстатическом обмене бумагой. Что-то чувствовать. Прийти на кафедру, где покойный обучался основам. Я пишу очерк о смерти Александра Дорфмана. Что вы можете сказать? Смущенная лаборантка. Что-нибудь да скажет. Написать эпитафию. Составить некролог. Поддерживать его семью, стареющую, мгновенно поседевшую (буквально на глазах) мать (можно я буду звать Вас мамой?), приобнять младшую сестренку. Принести собачке косточек. Я не знал его при жизни, так жаль. Сладкий мертвый. Последние дни Дорфмана, пьеса в четырех частях с эпитафией из Фуко. Почему из Фуко? Классик. Писал эпитафий. Все силами студентов и друзей покойного.

Или блевать на столик с вазочкой. Напившись дурных напитков. Захотев срать, подтереться сообщением о смерти Дорфмана, похитив это сообщение темной ночью заранее. Отъебать старуху мать и отпиздить маленькую сестренку. С отцом, Дорфманом-старшим, Дорфманом живым, не здороваться. Никогда. Принципиально. Написать эссе «Дорфман и бляди», с привлечением данных эмпирического обследования блядей. В молитве упоминать в числе тех, что «за здравие».

Мы любим мертвых, мы все некрофилы. Сочувствуем мертвым, почитаем их и землю ими грязним, равно и огонь священный тайный. Этот вечный хриповатый стон при сообщении о гибели кого-нибудь, о катастрофе или аварии, или просто о кончине. Простая такая кончина. Ежеминутная кончина. Но трооогательно. А живые проблематичней мертвых и умеют говорить, чем иногда пользуются. Конечно, просто быть циником в отношении неродных, но глупо сострадать незнакомым, при том образе жизни, что мы ведем, и при той степени любви к ближнему, которой обладаем.

Дорфман закончил свой путь. Чистым или грязным, не сообщается. Говорят, что трагично. Где-то и как-то. Может быть, он умер и мы убили его? Может быть. Зачем нам Дорфман? Какая от него польза? Он органичен в гробу. Пусть поспит. Это не мы умерли. Или наоборот мы, а не он, но пути наши разошлись.

Пока я ходил кругами вокруг семидневной святыни, мне сообщили, что Вовка пьет на крыше,

восхищаясь сладостью и неожиданностью раннего весеннего солнца. Вовка пьет различные интересные напитки и дружит с совращенными ранее девочками. Все дружат с совращенными девочками, но может, сегодня не стоит? Солнце светит само по себе. Я пойду на крышу, буду еще ближе к солнцу. Не буду загружать себя Дорфманом больше, не буду действовать и творить, тем самым приближусь к оному Дорфману в его нынешнем безделье. Потом я шел на крышу некоторое время и еще чуть-чуть держал Дорфмана в мозгу. Дорфман умер. Человек, который интересен тем, что его нет.

писатель и история

Писатель пристыженно смотрел на волны, смущенный их прерывающимся великолепием. Как выразить словами клочки пены, как передать абсолютность момента? Можно ли поместить в словесную клетку лучи солнца на зеленоватом гребне волны? Писатель думал об этом, лишая себя солнца. Ему очень хотелось чего-нибудь выразить, облечь словами сокровенное. То сокровенное, что, сидя на берегу моря, он так ясно понимал внутри. Я посмотрел писателю в глаза. Его схематичные, синие глаза-точки смотрели на меня без выражения. Я отвел взгляд. Иногда убогость очень приятна. Именно такая убогость была вокруг, на выставке.

Мы шли по летнему курортному Питеру, мимо замороженных туристических артефактов. Справа вдруг оказалась дверь и афиша. На афише значилось, что за дверью — посмертная выставка, посвященная писателю Босьявкину. Фамилия Босьявкин приглянулась пьяному сознанию, и я повлек своих индифферентных к происходящему друзей за дверь. Выставка оказалось бесплатной. Она вся проходила в одной небольшой комнате: там были картины, книги писателя, личные вещи. Две женщины: одна сидела и что-то записывала, другая возбужденно

ходила по комнате с видом знатока. Презрительно улыбаясь, я встал перед одной из картин, стараясь навести резкость, и увидеть за цветовыми пятнами смысл. Но картина оказалось абстракцией — даром друга писателя — художника-абстракциониста. Женщина, та, что ходила, заговорила с нами.

— Простите, откуда вы узнали о выставке?

— Мы просто шли, нас заинтересовало...

— А вообще фамилию Босьявкин слышали? Наверное, книги-то хоть видели?

— Да, — согласился я. — Что-то знакомое.

— Он был очень популярен лет двадцать назад. Детский писатель. А я, я журналистка, я пишу... А это, — она показала на сидящую женщину, — вдова писателя.

Мы скривили улыбки в направлении вдовы. Стараясь особо не дышать, что-то пробормотали в знак приветствия. Вдова, в отличие от журналистки, говорить с нами не стала. Наше пьяное и не особо скрываемое веселое состояние вдове явно не нравилось. Но журналистка, не обращая ни на что внимания, подводила нас к каждому экспонату, рассказывая о нем, о Босьявкине.

— Босьявкин был первым, кто начал так писать. Он обогнал свое время. Тогда так никто не писал. Тогда требовался реализм, реализм, компренэ? А Босьявкин был минималистом. Вот смотрите, как он описывает встречу Пети и зверя.

В руках журналистки все это время была книга. Она открыла ее и зачла: «Петя шел. Кругом —

ночь. Кто-то зарычал вдали. Это зверь. Зверь подошел к Пете и сказал человеческим голосом: „Петя!..“». Мы закивали в подтверждение мастерства и новаторства Босьявкина.

— Сборники его рассказов: «Петя и Зверь», «Число», «Шестью шесть», «Учат в школе» были переведены на пятнадцать языков. Босьявкин... он... ему не давали публиковаться. Его зажимали. Никто так не описывал природу. Лес.

Мы еще немного походили. Потом мне стало совсем стыдно за все мои внутренние смешки, пьяное дыхание и нечестность, мы попрощались и ушли, не приняв в дар книгу Босьявкина, которой журналистка хотела нас благостно одарить.

Некто Ван Би ставил Конфуция выше Лао-цзы, хотя был лаоистом. «Конфуций не писал о том, что словами выразить невозможно. А Лао-цзы говорил о сокровенном, для передачи которого слова непригодны». Впрочем, никакого отношения ни к этому рассказу, ни к Босьявкину это не имеет. Тем более что Ван Би был китайцем.

Босьявкин поднял глаза и посмотрел прямо в солнце, смотрел так до рези в глазах. Но истина не пришла к Босьявкину. Он поднялся и пошел по направлению к пансионату, геморрой доставлял при ходьбе боль. Истина не пришла. Она не из тех, кто ходит. Вместо того, чтобы смотреть, Босьявкин пытался описать явление. И душа его еще бродит по земле, ища следующее глупое тело.

Удруга Максима на даче я часто бывал в один из периодов моей жизни. Однажды мы пили водку большой компанией. Вдруг я встал и пошел в подвал. Я вообще люблю скрытые места, темные места, с запахом сырости и забытой жизни, с непонятными предметами. Я думаю, там можно поживиться истиной. Как будто в подвале может быть истина. Вот я спустился в подвал. Там действительно пахло сыростью, лежали умершие от химикатов крысы (или я думал, что они там лежат), разная мебель стояла и вещи, не употребляемые никем. Еще много книг я нашел и стал листать некоторые. Был поздний вечер. На улице, возможно, полнолуние. Сейчас мне кажется, что это было осенью, я люблю осень.

Книги были преимущественно религиозного содержания, даже атеистического. На нижней полке шкафа (а был шкаф, где книги я разглядывал) в ряд стояли «Апология Живых Евангелий» в 18 томах Бакрынского, «Почему Бог умер» группы славистов Университета и «Смерть и Девы» какого-то римлянина, обладающего большим и сложным именем. Еще несколько листов, желтых, естественно, и перевязанных белой нитью (я белое люблю). Эти ли-

сты я стал читать. Заглавия не было, текст был на старославянском, который я иногда понимаю немного, сильно порченный влагой всякой. Текст иногда прерывался, то из-за пятен непонятного происхождения, то сам по себе. Это был какой-то вариант знаменитых «Деяний Иуды Фомы апостола», сирийского апокрифа, который я, в институте учась, читал, поэтому узнал. Вот что примерно было там написано:

«...И ударили тут Фому крепко и сильно, и упал он и не вставал больше. Так закончилась жизнь земная Фомы апостола индийцев, одного из двенадцати. И сказал Фома перед смертью: «Истинно говорю я, я истину возглашаю. Слава Тебе, брат мой небесный, что ведет меня. Спасибо Тебе за милость Твою и благость, что внутри меня. Жил я (какое-то время) и умру сейчас, чтобы жить жизнью вечною, как обещал Ты мне. И скажу я вот людям этим (что стоят тут): знайте, что соединюсь я с братом моим, равно как и он (ранее) соединился со мной. И буду жить я жизнью вечною, ибо хочу этого. И с каждым, что захочет, так будет. И райские цветы я трогать буду, ибо позволено мне. Но я хочу сказать (и скажу вам), что суть второй я, и нет учеников кроме меня, равно как и учителей кроме Него. И открыл Он мне смысл жизни нашей, и слова тайные сказал, и тем самым я стал равным Ему. И природа наша с ним одна, но знание наше различалось. И сказал Он три слова мне перед уходом своим, и вам сейчас скажу я их. Но знайте на-

перед, как дело то было. Он по воде шел. И жажду питал, и воду пил ту мертвую. И испив не умирал, но пил дальше. И смотрел Он вовнутрь моря того мертвого и трогал воды его вечно спокойные, и видел там лицо свое (одно из двух). И увидев лицо свое в воде, Он потерял его, и то лицо затем я обрел, и я (таким образом) стал. И не смог более без меня, когда живописал меня. Но я мог без Него, ибо был изначально человеком (природой человеческой обладал) и мог по-всякому (и также мог таким образом)... и потом шли мы и он учил, и пока он учил, Он терял, а я, я обретал, и потом Он потерял (их) и умер (здесь), а я обрел. Но перед смертью своей Он живописал меня во второй раз, отдав лицо второе Свое. И слова тайные сказал. Вот они: «И[...]»... Славься Отец и брат мой, скоро отдам Тебе то, что взял на время, а ты дашь мне то, что навсегда... в Царствии Твоем». Еще деяние такое совершил Фома, когда на небо смотрел. И смотрел на он небо, Фома этот, и не было в небе ничего. И ученик спросил Фому: «Как же смотришь в небо ты, если в небе нет ничего. Как видишь ты то, что невидимо (и вдруг ты видишь это)? И еще: один смотрел и сокрушил то взглядом, и сокрушится ли небо, если?..» И сказал Фома: «Открой глаза и увидишь, ибо глаза даны тебе не только чтобы видеть, но и для того чтобы не видеть. Когда ты глазами видеть не сможешь, то я спрошу тебя: чем смотришь ты? И ты отойдешь в ужасе. Но посмотришь ты (затем) и увидишь невидимое, ведь глаза

твои... а небо упало на землю, и прахом облака стали, и если не знаешь ты этого, то как можешь знать ты то, что я сказал тебе (ранее)?». И ученик поклонился, и Фома крестил его, и спасся ученик затем. И славили они Бога вместе на горе этой (ведь на горе стояли они). Так Фома ученика спас для жизни вечной, и не умер ученик затем. Еще шестое деяние, что Дидим совершил в стране той. И женщина больная была. И больно было ей. И пришел Фома и сказал ей «Встань, ибо рождена ты для жизни вечной... и в тлене вязнуть прекрати. Встань, ибо молился за тебя, и надо мне». И встала женщина, так как и сказал ей Фома этот. И Христа славили все кто был там, и многих покрестили в тот день. Еще было, что демон Фому искушал, но Фома напомнил ему, демону, разговор с Ним, и указал демону природу его, и плача ушел демон, говоря: «Не смог я совратить я Фому того, что проповедует это, как домой попаду я?» Так демон посрамлен был, а Фома пятое деяние совершил. Деяние четвертое Иуды Фомы апостола. Спросил Фому царь один (что был там): «Как Бог твой оставил тебя?». И смеялся Фома, и говорил «Со мной Бог мой». Но царь не понимал (этого). И проповедовал Фома народу тому и вот что говорил: «Славься Царь наш истинный что во мне и надо мной, а внизу нету Тебя. Так как внизу грязь великая. Помилуй нас, рабов Твоих, и от грехов и искушений уведи. Чтобы жили мы жизнью чистой и чистыми вошли в дом Твой... грехов страшнее всех стяжательство, богатство еще...

знатные... и бедных справедливо любишь Ты. Бедные...». Потом Фома к царю тому пошел и увещевал его долго, и царь все, что имел, все людям раздал, ведь Фома дочь его излечил. И царь радовался затем. И царствие его к небесам стремилось, и все кто жил там, радовались, и... Такое еще деяние совершил Фома апостол, один из первых, что удивились все, кто стоял там, ведь чудо было это. И потом спросили его, как он... и ответил Фома тот: «А так вот». А Фома вот сделал что. Он хлеба кусок просил, и не давали ему, и гнали прочь. Но кто-то все же дал ему. И Фома созвал всех и хлебом одним толпу (тысячу) накормил, и даже тех, кто не подавал тогда ему. А сам не ел и лишь молился усердно и Бога своего славил, ибо любил Его, а еще... Им. Так делал Фома апостол этот. А второе деяние еще Фомы апостола, что индийцам сделал он. Один стоял там и колдовал часто, а Фома его крестом прогнал. А он (колдовал что), много бед вызвал, и засуху даже... и молили все Бога этого и дал им Иисус воды много. И сказал Фома: «...во веки веков так». А вначале, в страну ту прийдя, вот что Фома сделал, как явил Бога всем и деяние свое первое совершив там. Было мало... а Фома молился усердно. И много стало... и радовались все, и молились. И идола затем низверг, когда уверовали в Бога все. И так было. Вот первое деяние Иуды Фомы апостола. Деяния Иуды Фомы (Дидима) апостола индийского, одного из двенадцати, когда в страну он ту пошел и проповедовал это там...».

В некотором экстазе я вышел из подвала. Бытие было легким, я мог пощупать его влажную субстанцию, казалось, еще немного, и я прикоснусь к изначальным законам жизни, или еще чему умному и скрытому. Я захотел всех порадовать находкой, и, возможно, читать произведение вслух. Да что там! Я почти ощущал себя Иудой Фомой, близнецом Его, апостолом. И всякие мысли об инкарнациях меня наполняли. Люди, мои собутыльники, спали или трахались (девушки тоже имелись), или, как говорил Фома апостол, прелюбодействовали и грехом разным занимались. Другие, кто не спал и не трахался, просто были с закрытыми глазами, и говорить им было бесполезно. Я решил все рассказать завтра, что понял рассказать (я думал, что я многое понял), а сам пока пошел спать. Впервые за долгое время заснул трезвый, среди пьяных. И думал еще, что я — как апостол древний среди зверей диких. Так книги влияют на души неокрепшие и трезвые.

От чего я проснулся — от солнечного луча на лице или от звуков утреннего блева, не знаю. Народ, пережив ночь, готовился заранее к еще одной. Кофе натошак. Я подошел к Максусу и стал рассказывать о том, как книжку вчера читал, и что она меня сильно взволновала. Максим вначале с нотками полустеба приводил неверные цитаты из синоптических евангелий и упоминал то Борхеса, то Будду и пытался параллельно рассказывать мне про свой экспириенс с анальным сексом этой ночью, что ме-

ня тоже интересовало, но я старался не проявлять заинтересованности, как-то боялся слушать сейчас об этом (вроде упустить нечто важное из настроения не хотел). То ли я думал о своей миссии, то ли о том, что у меня наконец появилась миссия, не знаю сейчас. В итоге мы спустились в подвал. В подвале я уже все рассказал ему, и он делал вид, что все услышал. Мы подошли к шкафу, но ни на нижней полке, ни рядом, ни в подвале вообще листов давешних желтых с текстом «Деяний...» не было, равно как и трупиков крыс, умерших от химикатов. Я думал, мой друг будет меня высмеивать и всем рассказывать о моей дурости и неумении пить. Он спокойно дышал перегаром мне в лицо и чесал себя то там, то тут. Потом сказал: «Разное бывает в жизни этой, также как и в другой, если она есть. И не все можно рассказать другим и показать тоже. Не в каждую реку можно войти дважды, только в болото». Я спросил, верит ли он мне или это был мой сон. «А есть разница? — спросил Макс. — Странные вещи происходят в мире, потому что странен мир по природе своей, и мы пытаемся упорядочить его, потому что многие боятся сойти с ума от ужаса истинности». «А я схожу с ума?» — «А есть разница? — повторил он. — Я думаю, ты не сходишь с ума. По крайней мере, что это за ум такой, с которого можно сойти?» Потом он спросил, не хочу ли я кофе, и я захотел, и мы стали подниматься по лестнице из подвала. Я вдруг услышал голос: «А слов тех тайных, их не услышишь

ты». Я испугался. Но, думаю теперь, это не был голос Иуды Фомы или Близнеца какого. Это вообще не был ничей голос, думаю, как раз именно это мне слышалось. «Помнишь, — спросил Макс меня, когда мы пили кофе, — как ты в лесу потерялся и долго блуждал?» «Нет». «И я почти не помню». Затем мы сидели и молчали, и день был теплый и светлый. И Свет внутри есть.

СИМОН, СИМОН И ПАВЕЛ

Симон Маг, или Черный Петр восседал на облаке, радуясь собственной важности. Облако летело в Рим. Симон был не стар. Голос, такой, какой мы иногда слышим, воззвал:

— Симон, Симон, почему ты гонишь меня?

Симон как будто ждал Голоса.

— Я не гоню тебя. Но я хочу говорить с тобой, а не слушать.

— Но ты хотел купить меня.

— Тебя часто покупают, нет?

— Покупают веру.

— Да, но не истинную веру. Теперь я знаю это.

— Ты не хочешь быть бараном в стаде моем?

— Бараном хочет быть только баран. Вернее, только баран может быть бараном.

— Ты хочешь служить Дьяволу?

— А разве он существует? Служить Дьяволу — все равно что служить Тебе. Это значит признать наличие божественной воли.

— А разве ты не инструмент в моих руках, Симон? Разве ты не летишь в Рим, навстречу своей гибели и позору? Разве ты не существуешь лишь затем, чтобы показать мою силу?

— Сильному нет нужды показывать силу.

— Это так. Однако ты послужишь этой цели. Человек, простой старый человек, не отягощенный знаниями и опытом, обычный человек сокрушит тебя Словом Моим.

— Так. Но лишь бросив вызов истинной вере, я смогу до конца понять себя. Я маг, я обращаюсь с природой и Богом, как с равными. Мне нет преград. И только человек с истинной верой внутри сможет победить меня.

— Ты не хочешь войти в меня? Стать с моей паствой? Войти в вечность, а не прослыть в качестве глупой аллегории? Стать над всеми моими рабами?

— Это скучно. Вечность кончается там, где она и начинается. Я благодарен Тебе, что есть жизнь, конечность которой подразумевает возможность творить. Творить и бороться. Ты сам мне более ничем не интересен. Но люди с верой, они мне интересны. Интересны в плане того, как я сам проявляю себя.

— Лети, Симон, я более тебя не задерживаю. Лети в Рим. Лети в будущее.

— Я не боюсь будущего, я знаком с ним. Вот только ты воспользуешься прошлым, которое каждую ночь кто-то крадет у меня, над прошлым я не властен.

Но Голос молчал. Облако висело над Римом. Симон приготовился спускаться. Потом задумался и сотворил жест. Явился ангел.

— Привет, пташка, — сказал Симон.

— Ты звал?

— Да, Натанаил. Я хочу знать, почему я не вижу апостола Павла внизу.

— Он мертв, Симон.

— И как произошло?

— Я скажу, — пропел Натанаил. — Все дело в апостоле Петре. Петр, что... — ангел испуганно огляделся.

— Говори, — приказал Симон.

— Петр, что намного хуже Иуды, так как предал Его три раза, а не один, Петр, который захочет предать его и в четвертый раз, но будет оставлен Его вопросом, устыдится и умрет перевертышем...

— Будущее известно мне, — раздраженно произнес Симон. — Говори о прошлом.

— Петр, поседевший и глупый, позавидовал славе и влиянию Павла, апостола язычников, его таланту и его силе. Петр восстановил против него общину, и община взбунтовалась, и все свалили на Павла, и Нерон казнил Павла. И небо было пусто. Ты ведь знаешь, что об этом будут говорить?

— Да. Церковные историки и философы будут молчать, кто в удивлении, кто в недоумении от того, что ничего не знают о мученической кончине достославного Павла. Они будут осторожно предполагать, что Павла погубили внутренние распри внутри общины. И будут распространять сказку о его преклонных годах. А потом они найдут документ и спрячут его в глубинах Ватиканской библиотеки. Так?

— Да.

— Прощай, пташка, — молвил Симон.

И ангел, сраженный молнией, сразу как-то почернев, с ревом понесся в ад.

— Ты отказываешь им и в свободной воле, и также гневаешься, когда они подчиняются моей воле, — обратился Симон к небу.

Потом Симон спустился с помпой, и встретил там Нерона, и показал Нерону чудеса. И простой народ боготворил Симона. Петр был рядом. И Петр вызвал Симона на поединок. Симон взлетел над землей, и все содрогнулись. Однако вера Петра была истинной, и воля, которая была в нем, была Божья. И Симон упал на камни. И потеряли все к Симону интерес, полагая, что он разбился. Однако это было не совсем так. Он потерпел неудачу. Но постиг, нет, не смысл жизни, но смысл Бога. Он проиграл и потерял интерес к полетам, превращениям и прочим магическим фокусам. Но более никогда не заставлял ангелов служить ему. Он поселился в лесу и очень полюбил белые грибы.

Магия, как натуральная физика, как доступ к управлению природой и высшими силами, магия, когда смысл жизни можно понять, правильно подняв соответствующую руку, может проиграть только одному. Не Богу. Но истинной вере, проявлению божественной воли в человеке. Вере, не вере масс, вере от скуки и вере от страха, но вере кристальной, вере полной. И воле — воле создателя в Его творении. Вот кому может проиграть маг. И если он не отваживается на поединок — он жалкий фокусник,

а если отваживается — объект для насмешек последующих поколений.

Павел умер и в Раю. А Петр, Петр грешник, способствовавший умертвлению Павла, предатель своего Бога, человек ограниченный и глупый, Петр носит ключи от Рая и всячески Господом обласкан. Таков этот мир, таковы его законы. Так Он создал его. Если принять эту версию за истинную, все именно так. Возможный выход тут — в изначальном понимании белых грибов через их съедение. Впрочем, на месте грибов, как и на месте Бога, может быть любой белый предмет.

реализм для самых маленьких

Младенец Петр лежал, повернутый главой книзу. Кровать скрипела, побуждаемая снаружи. Сейчас мать расскажет сказку.

— Жили-были, — бесстрастно сказала мать, — и там было всякое. Кругом пустыня, пустыня внутри, пустыня снаружи. Холодная пустыня. Вокруг — никого. Вот входит старушка-ватрушка. Жизнь налаживается. Где были вчера голод и страх, сегодня выступает с лекциями профессор Белановский. Вчера было вчера, и завтра будет. Протяжный скрип дверных петель привлекает летучих мышей, так говорит профессор о реализме. Старушка, стоя в пустыне, достала волшебную палочку и давай волшбовать. Приворожила старушка мышь и мышь стала привороженная и улыбается. Полетела мышь в сторону. Сторона посторонних, ранимых людей. Отыскала мышь профессора Белановского. И ну его целовать. Целует-целует — поцеловать не может. Так и умер профессор Белановский нецелованный, в летах. Канул профессор в Лету и сидит, круги пускает. Словно большая одноглазая рыба. Рыбы бывают одноглазые и двуглазые. Таково их разнообразие. Вот часы бьют полночь, обезумев, — продолжала мать, возбуждаясь — и несо-

мненно что-то происходит. Мышь, ведомая половиной ночи, во вторую вступает. К старушке летит. К колдунье идет. Приходит — а нет старушки. И пустыня вокруг — холодная пустыня чужих страхов. О, нелегкая мышинная доля! О, разочарованье. Зарылась мышь в песок и лежит расстроено. Петух поет трижды, но у мыши — ни голоса, ни слуха. Петух поет трижды по особенным случаям — но голос мыши никому не нужен. Лежит мышь, на мордочке — печаль и злость. Начинается песчаная буря. Летит много песка. Мышь оказывается под песком, где гибнет, так как обучена дышать. А там нельзя. А что же старушка? А не было никакой старушки! Мало ли что привидится в далекой пустыне, да еще мыши, которая никогда не отличалась хорошим зрением. — Мать посмотрела на Петра со значением. Затем продолжила. — А мораль? Морали нет. Это аморальная сказка. В реальности не всегда есть смысл, в отличие от божьих проповедей. Потому как проповеди божьи искусственно сконструированы. А если нечто имеет искусственные следствия, то и само, должно быть, придумано. И нет его нигде. Ах, да, — сказала мать, — сказка. Старушка-ватрушка вышла из окна, когда попала в ситуацию, где окно было. Аминь, — сказала мать. — Спокойной ночи, — сказала она Петру. Но Петр уже спал, спал с самого ее прихода. Мать встала на цыпочки и вышла из комнаты. Вот почему у матери всегда такие тонкие запястья.

ахура должен умереть

Костру дождь не нравился. Он шипел и плевался, и даже пытался потухнуть. Выказывал всякую неприязнь и крайнее неуважение к падающей на него влаге. Еще меньше дождь нравился нам. Но мы — воины. И мы терпели, не плюясь. Мы лежали по обе стороны костра, завернутые в одеяла, и смотрели друг другу в глаза. Мы общались без слов, чувствовали мысли друг друга, ощущали свои порхающие неподалеку души и улыбались, как будто кто-то из нас хорошо пошутил. Единственное, что нам мешало, это некоторая забывчивость, мы забыли, что собственно мы делаем высоко в горах в холоде и мокрости. Мы не хотели вспоминать. Оба устали — полтора месяца нескончаемого продвижения и борьбы. Но цель. Иногда цель грела, но чаще мы старались представить себе, что просто гуляем. Сейчас встанем — и дома, и все нас обнимают. Целуют. Тиштрия обнимет многих деток своих. Я сяду на любимом крыльце и под аккомпанемент солнца закурю. Такие штуки нас грели (в отличие от одеял), но недолго. Потом мы вспоминали. Иногда одновременно, иногда один быстрее. Тот, кто вспомнил быстрее, не рассказывал, не мешал немного порадоваться другу. И сам

старался момент встречи со знанием отсрочить. Но вскорости, как и сейчас, когда мы омываемы дождем, реальность выступала, довольная своей непобедимостью. И из улыбчивых соседей, овеваемых дома лучами, мы становились воинами, у которых была четкая идея. Цель. Мы идем убивать Ахуру. Ахура должен умереть.

Помню, как дедушка рассказывал сказку. Что умерли однажды старик со старухой. И очутились у моста. Старик (ставший уже просто-напросто обычной фравашей) так сказал: «Иди, старая, вперед». Старуха пошла, потому что старика уважала. Она забыла, что он боле не муж ей, которого почитать и уважать надо, а фраваша, как и она. Фраваша фраваша рознь. И пошла. На мост взошла, топ, топ. Шла и упала. Старик, делать нечего, тоже пошел. И упал с моста. Тут дедушка замолкал и молчал до тех пор, пока кто-либо из слушавших его детей не спрашивал, все ли это. Все, всю сказку поведал, отвечивал дедушка. А в чем смысл сказки этой, спрашивали. Нет в ней смысла, говорил дедушка, это всего-навсего сказка. А чего это она такая маленькая и скучная, а? Какая есть, отвечал дедушка, такая вот. Истина — лучшее благо, добавлял дедушка и заканчивал на этом общение с нами на некоторое время.

И чего вдруг мне вспомнилась эта ахинеистичная сказка? Здесь, в доме старых камней, в дожде? Вечно эти дедушкины рассказы вспоминаются... А вот как звали ту девочку, с которой мы купались в озере, не помню. Неправильно. Мы купались

втроем и часто, и голые. Хорошая девочка. Ее съели. Как же там ее звали. Ей, Тиштрия, брат, как там... Ну да. Надо вслух.

— Ты помнишь имя той девочки, с которой мы в юности дружили? Она нам еще первая всякие женские места показывала невзначай? — спросил я Тиштрию.

— Не было такого. И вообще, озяб я, — сказал Тиштрия.

Ну да. Он вообще все забыл.

— Слушай. Мне сегодня бог приснился, — Тиштрия сказал.

— Да? И как он выглядит.

— Как на картинке, один в один.

— А ты это к чему?

— Так. Чтобы знать, что я не один, страшно малость.

— Так я же только что тебя спрашивал о девочке, суть говорил.

— О какой девочке? Не было такого.

Надо сказать, что Тиштрия в последнее время очень раздвоился. Двумя стал. Это где-то неделю назад началось. Причем ни один из двоих не знал о существовании другого. Или показывать не хотел. Один был друг мой, Тиштрия, а второй... Второй там тоже был, и это все, что я знал.

— Ты опять был не собой, — рассказал я Тиштрии.

— Да? Плохо. И о чем ты спрашивал, что за девочка?

— Помнишь, мы с девочкой играли все время в детстве, обнимались там? Подруга наша.

— Да.

— Как звали ее, забыл.

— Энси.

— Это что за имя такое? Странное.

— Так родители назвали. Бывает. Ее съели, помнишь?

Я помнил. Еще вспомнился дедушка (достал). Он однажды увидел, как Энси (или как ее там?) показывает нам свое тело. И давай рассказывать. Мол, если юноша смотрит на молодую девушку, не жену ему, не родственницу и не мертвую, то у него у самого груди вырастут. Тут мы были не против, но не за. Кроме того, мы привели дедушке несколько примеров, когда мы точно знали, что некто видел (и еще чего-нибудь) тело девушки не своей, а груди не росли. Тогда дедушка расстроился. Взял палку и побил нас. Мы ему пытались возражать на это, что истина лучшее благо и т. п., нельзя нас бить. Но он все же.

НОЧНАЯ ВОДА

Люди похожие на воду вошли в мой дом. Они хотят пить. Вы Алексей Радов? Сейчас мы сделаем из вас босяк. Знаете, Алексей, у Вас мертвый мозг: мыслить Вы им можете, а гопак — нет. Не хотите гопак? Хотите все, но не как старую печаль? Хотите вон, хотите прочь, хотите ночь. Сейчас мы будем Вас есть. Думаете понять, как Вы думаете? То есть не понять, а «постичь». Постичь, конечно, проще, никаких усилий не надо. И уже не думаете, уже полагаете, что Вы — человек. А мы пришли сказать, что Вы — срань.

внутренняя пустота

Это было в конце лета. Я сидел дома и скучал. Я был полон добровольным одиночеством. Я философствовал и страдал. Ничто не влекло. Ничто не звало. Не на что было посмотреть. Я мучился щемящей внутренней пустотой. Внутри меня все ссохлось, все замерзло, все пало. Конечно, я немного наслаждался этим чувством отверженности, этим своим охлажденным рассудком. Эдакою своею вольной душой. Но внутри все пусто: ничего не хочу. В один из дней позвонила моя бывшая девушка. Она вернулась из Крыма. Девушка хотела «увидеться». Девушки иногда просто хотят увидеться, у них, у девушек, есть некоторая самонедопонятость. Ну, приезжай, сказал я. И она приехала. Она была вся размалевана-разодета, как-то совсем некстати моему экзальтированному опечаленному состоянию. Я встретил ее у метро. Мы шли, «гуляли», многие девушки врубаются «гулять». Я немного стыдился ее, и стыдился этого своего чувства. Мы всегда стыдимся тех, кто хоть немного наружу, наружу иначе чем все остальные. Так и меня стыдятся мои знакомые. Она сказала, что там, в Крыму, влюбилась в девушку. Ха, ты стала пидарасом, весело воскричал я. Педерастия моей бывшей де-

вушки вкупе с ее нарядом заняли весь мой разговор. Я вообще часто иронизирую в разговоре, но тут я особенно старался. Надо сказать, что вся моя внутренняя пустота дополнялась двумя месяцами нетраханья, что для жаркого лета воспринимается тяжело. И мы зашли ко мне домой, и я приставал к ней, и она хотела. Она хотела, но не давала, потому что любила другую девушку, потому что считала, что любит другую девушку, потому что считала, что сейчас дать будет немного не к месту. Но я упорствовал, а она, надо полагать, текла. И потом мы трахнулись. И, какая незадача! Ей уже надо было «бежать», и она бежала, и убежала. А я сел к окну (хотя мог сесть куда угодно). И тут мне стало совсем плохо и неприятно. Я себе не нравился, что со мной бывает крайне редко. Я думал, что вот, значит, приходит ко мне девушка, такая восторженно-неряшливая и трогательная в своей любви (нет которой, есть — не важно). Приходит девушка, и тут я — со своей человеконелюбовью и грустью летней. Тут я, со всей своей внутренней пустотой и тоскою. И я, не верящий уже и в то, что вера возможна, я рушу ее фантазию, я бью ее фантазию. Я слаб, организм подсел на траханье, и я убиваю самое дорогое, что может быть у порядочного, но не очень сильного духом человека — его иллюзии. Я пользуюсь ее слабостью, я, проповедующий внутри себя безумные красоты и гармонию. Я — общий добрый друг и честный мизантроп. Она нашла себе что-то, чем занять увядающий у каждого рассудок, по-

тешить, и это тешенье я ломаю. Она нашла что-то, чтобы не видеть безумья мира, — это ее право — закрыть глаза. И вот я сижу у окна (у окна сидеть так красиво, куда лучше, чем на стуле!), я сижу у окна и смотрю в небо. Я, охваченный жжением внутренней пустоты. Сижу я со всей своей пустотою и ругаю себя. Я смотрю тогда в небо, и небо привычно полупустынно. На небе — его половина, а внутри меня — ничего, ничего интересного, только недоломанный мною я.

причины моей ненависти

Юноша прыщавый с гитарой робкий
Обмен поцелуями — слизистое безумие
Моча струится по улице, глотки разверсты
Путь выпит, душа здесь мерзнет
Девочка хочет лифчик, платье розовое, синтетика
Невинный щебет, птицы улетели
Мысли разрезаны на неравные куски
Уши не слышат, возможно скоро
Внешнее уродство и борьба с ним
Обожествление предметов не имеющих
сакрального значения

Маша вчера умерла. Очень хорошо
Чем больше маш умрет, тем меньше нужно

патронов

Холодное утро. Первое солнце. Чей-то взгляд
я чувствую кожей. Кожа розовая и тихонько гор-
дится этим. Где-то идет дождь. Где-то никого нет.
Запах матки. Слизь. Я — Алексей. Прохладным
утром в кресле сижу, смотрю на далекий лес. Встань
и иди! У кого есть ноги, тот должен ходить. Утро
неожиданно. Радуюсь хлебу. Пища проста, мир не-
знаком и приятен. Надо мной есть дерево, я слышу
шум его высоких веток. Нюхать мох у корней. Све-
жую траву. Чавкая ест землю, так чтобы черный

сладкий сок тек по щекам. Лес? Вдалеке. Утром, сидя под деревом, можно, быстро обернувшись, увидеть ангела, он не так быстро бегаёт. Дерево шумит.

Ты любишь? Ты не любишь? Меня?

Я ненавижу

Коллективные попытки понять смысл жизни

Время и песок

Часы и закрытые глаза

Закупоренные люди, люди в целлофане

Мне, пожалуйста, два килограмма

Два килограмма чего?

Два килограмма. Просто два килограмма

Вечно вижу спины

Левый-правый, правый-левый, промах-цель

У меня не растут усы

И в метро все дышат стыдливо, и пахнут грязью

Куда же ты? Я не вернусь, это плохая привычка.

Горы видел? Видел

Реки видел? Видел

Камень Симон, у кого ключи, тот и прав

А потом кто-нибудь войдет и скажет

Язык хрупок

День выдался теплый. Пыль сплелась в воздухе, подчеркивая его. Скучно. Сажу под деревом, полдник. Завтра будет новый день, очевидно. Более теплый? Завтра нет нигде. День существует для замаливания грехов. День придумали не для меня. Скучно, жарко, ветра нет, дерево не шумит. Лес в пыли.

Живой Бог

Бессмысленность теодицеи

В укусе гадюки эликсир бессмертия
Религия как слабость
Молитва за унижение
Бог живет вдали
Прочие боги играли друг с другом в прятки,
да так, что один другого не нашел

Так спрятаться и мне

Холодный вечер, старый воздух. Борьба, удары, стрельба по недвижимым мишеням. Я вышел из дома, стараясь сосредоточиться. Воздух пел. Улица пустынна. Встреченный мной прохожий не выдержал моего взгляда, вот умер. Прошел слух. Улица петляла, стараясь разгадать себя. Груши были еще не спелые. Так я и шел тогда, все дальше удаляясь от леса.

Таковы причины моей ненависти, когда я спокоен.

Где-то на задворках мироздания он уничтожал неполноценных детей, устало улыбаясь. Кто-то входил и уходил, ища себя в этой жизни, принося струю холодного воздуха, а то и несколько струй. Было пусто все. Лишь ванночка с водой и ящики с детьми при входе. Вода сверху, сырая, вода снизу, грунтовая, вода посередине — живучая. Позвонки болели один за другим, смещаясь то вправо, то влево, руки высохли и являли собой анатомический манифест. Живот, сознавая свою ненужность, приобрел желтый оттенок, сморщенную видимость и совсем ввалился. Дети плакали и стонали, неполноценные дети в страхе. Дети уничтожали его нервную ткань, его психическую суть. Дети съедали его годы. Нытье и жалобы подорвали его веру в людей, плач, слезы и постанывания были причиной неврастения. Внешний вид детей разбил вчерашний его идеализм. Нету идеализма. Все это ахиллесово производство (а он держал за пятку) розовых полубогов медленно убивало его. Но всех рано или поздно, медленно или быстро что-то с переменным успехом пытается убить. Разве разница, как? Он привык, и помимо всего, кроме него никто существовать таким образом не стремил-

ся. Когда-то он умер. Птицы унесли его, мягким весенним свистом целуя, на гору, что вдалеке. Птицы унесли и он там лежал. Еще не мертв, нет. Но скоро. Небо было близко, и высохшей своей рукой он гладил небесные прожилки и впадины, дивясь си-
нине видимого. Пара одиноких козлов, бесконечно ищущих траву, наблюдала его там. Наблюдательные чудные козлы! Потом были козлята. Стал ли он козленком, неизвестно. Но козлов перед смертью видел. Кстати, он уже умер.

Ящички еще полностью плюшевых, ненастоящих и нарисованных, малоценных детей все стояли в сырой комнатке, где стояла ванночка. Живая вода булькала, намекая на свою амброзийность, приливисто зовя деятеля, желая выполнять свою сущность. Потом пришел один, все сжег, ничего нет там. Больше не рождаются дети, лишь седовласые боги-патриархи правят вдалеке. А этих нет. Вам нужны дети? Больше нет. Не приходите завтра, дети кончились в принципе. Не производят, не спасают, не облагораживают. Плохо. Совсем бессмертные интересны менее, их глазницы пусты — они все видели, их уши полны просьбы, руки отдыхают на коленях. Некоторые устают за семь дней. Другие держатся веками (Вий?), в конце концов устают все. Я вроде знаю, что последний полубог умер от гвоздя. На гвоздь нанизали пятку, как бисер на леску. Пятки. Думаю, у всех есть недостатки. Даже у меня.

Незачем. Не для кого. Злость одна, беспричинная, и много нецензурщины». «А вы это взгляните»:

«У тебя болит хуй. Твоя душа. Это хуй. Метафизически. Вообще у тебя нет души, но есть хуй. Значит твоя душа — хуй. Ты сам — еще зигота. Зигота с хуем. Ха-ха. Душа — это что? Это зачем? Это к чему. А это чья душа. Душа чья, мать вашу? Кто душу потерял. Слишком много вопросительных знаков. Слишком мало смысла. Кто вчера убил кого-нибудь? Никто. А чего так. А пацифисты. С душами. А у меня нет души. Только теплая ванна. Где много пены. Хотя это не пена. Это чья-то сперма. Опять соседи еблись. Суки». «Ну, это не литература. Это, знаете, графоманство. Вот. Литературщина. Кто вас обидел, молодой человек? Вы так много мата употребляете, так как у вас в личной жизни неприятности? Это не пойдет, конечно». «В личной жизни? Ну что вы, естественно. У меня, знаете, возраст переходный. Уже 18 лет перехожу. Из пустого в порожнее. У меня это, комплексы, пубертатный период затянулся, — я затянулся сигаретой. — Вы лучше это посмотрите. Бля старая»:

«Он поставил свечку на стол и зажег. Потом поставил бабу раком (чем поставил ее в неловкое, по сути, положение) и трахнул. Собственно, и музыку поставил, хуйню романтическую, одни штампы, банальность, ни ей ни ему не нравится, но считается, под это надо ебаться. Атмосферу создавать. А потом пошел дождь и засыпал их домик в горах. Припорошил. Это был их медовый месяц. Он тогда не

думал, что будет приходить домой с ленью и бить ее, и бить себя (в грудь), и гордиться своей ничтожной карьерой и никому не известными достижениями, что будет всю жизнь ждать свой гроб. Он тогда вообще не думал. Эту пагубную привычку он приобрел позже». «Что, бля, не нравится?» — спросил я редакторшу. «Это не совсем корректно с точки зрения русского языка, я думаю. Но я даже думать об этом не хочу. Все равно не пойдет. Есть что-либо без грязи, грязи всей этой?». «Попробуем»:

«Рот твой полон вина. Ты полощешь им глотку по утрам. Потом ты одеваешь свою одежду. Если есть она. Идешь работать. А работаешь ты, допустим, в автопарке. Местной давалкой. Сосеешь, короче, у всех водителей. Работа такая».

Ладно, Радов, ты заебал, рассказ-то будет?

БУДЕТ!

рассказ о фаршированном перце:

«Депрессия — удел тех, кто не умеет готовить. Причем умение готовить — это не обширные кулинарные познания вкупе с гурманскими наклонностями. Когда ты умеешь готовить, это значит, что ты способен без отвращения поглощать то, что сотворил. Плюс ты получаешь больше удовольствия от процесса превращения продуктов в редуцты, нежели от еды. В последнее время, борясь с психологической усталостью и скукой, я приноровился к фарширов-

ке. Это крайне интересный процесс. В ходе него ты проникаешь в святая святых продукта, будь он животного либо растительного рождения, без разницы. Началось все неделю назад, когда я сидел вечером без всякого занятия. Я стал думать. Я думал: «Люди всю жизнь решают проблемы, которые после смерти кажутся им незначительными. Те же, кто остается в истории, совершают поступки не соответственно своим желаниям, а по необходимости». Тут мне стало грустно. Я покурил. Потом попытался почитать КНИГУ, но чужие слова не лезли в голову. Надо что-нибудь приготовить, решил я. Нафаршировать, может? В холодильнике как раз жила пара кальмаров. Я достал их из холода. Стал ждать их разморозки. Пока ждал, выкурил четыре сигареты. Потом я тщательно помыл их и снял кожицу. Один был большим, а другой — совсем еще ребяенок. Я стал готовить фарш: овощи всякие пожарил малость, добавил соленых огурчиков, петрушки, приправ разных... В то время как кальмары уже плавали в кипятке. Они стали пузатенькими. Мне стало их жалко. Они такие смешные, с «крылышками», тушки эдакие. Особенно трогательно выглядел малыш-кальмаренок. Но я не отступил. Я наполнил их фаршем, завернул фольгой, отправил в духовку. Когда они лежали в тепле, щупальце холодного времени, психическая грусть — ушли. Я с аппетитом поел.

На следующий день, едва я встал, мысль о хорошей фаршировке была тут как тут. Голубцы, решил

я и пошел в магазин. Там я купил полкило фарша говяжьего. Потом, уже на улице, вознамерился купить капусты. Мой друг, продавец, как раз был недалеко. Я встал в очередь. Передо мной группа мужиков покупала дыню. «Слышь, чувак, — сказали они продавцу, — а правда, что все армяне — пидарасы?»

— Святая правда, — сказал продавец.

— И что? В смысле, сосут друг у друга по утрам, да?

— Естественно, — подтвердил продавец.

Мужики ушли.

— Здравствуйте, Степан Макарыч, — сказал я продавцу. — Зря вы пейсы отпустили, все за армяна принимают.

— А мне что? Мне, грузину, даже приятны подобные разговоры, — возразил Степан Макарыч.

— Да?.. Ну, мне капусточки бы...

— Это сделаем!

Я решил готовить по-украински. Я сварил капусту целиком, отсоединил листья, слегка отбил черешки, завернул в листья предварительно заготовленный мясной фарш, соединенный с полуготовым рисом, зеленью, специями, салом, чесноком тертым, обжарил немного и отправил жить в духовку. Сел и закурил. Позвонил друг, сказал, что он умер. «Зря», — решил я. Мне стало жалко. Не его, конечно, а себя, оставшегося без друга. Но грусть прошла. Я заглянул в духовку, где потели в утятнике мои малыши, и легче стало. Я решил зайти к соседке. И зашел.

- Привет, соседка!!!
- Привет. Ты чего это припиздячил?
- Да так. Голубцов хочешь?
- Хочу.

И я принес ей моих готовых вкусных друзей.

- А ты мастер. Хороший редукт сотворил.
- Ага, — обрадовался я. — Старался.

— Молодчик. А мой васек токо и знает, что водку жрать. Говорит, душа болит, — пожаловалась соседка. Она приоткрыла дверь в одну из комнат (мы беседовали на пороге ее квартиры) и сказала сидевшему там очередному ваську:

— Слышь! Что наш сосед сделал! ГО-ЛУ-БЦЫ!

— Ма-ла-дец, — сказал васек и помахал мне рукой. Вяло.

Уходя, я сказал соседке:

— Он бы нафаршировал что-нибудь, сразу бы повеселел.

— Он только меня фарширует. Правда, все реже и реже, — сказала соседка и посмотрела на меня со значением.

Я сделал вид, что не понял ее взгляда, и удалился. Когда я пришел к себе, голубцы уже остыли, но я съел их и так. Главное — процесс, думал я.

Весь следующий день я пил коньяк и фаршировкой не занимался. Поэтому в четверг я был грустен сверх всякой меры. Я грустил об отсутствии в жизни интереса, я скучал, печалился из-за своего поколения, которое, по моему представлению, было готово сосать за хорошую еду у кого угодно. Я думал о сво-

ей исключительности и своем, следственно, одиночестве. Потом я подумал о попке Кати Васильевой, что наблюдал на прошлой неделе в биллиардной, и о том, что никогда не буду трогать эту попу нежно и по-хозяйски, не буду ей обладать. Я подумал о том, что надобно всех коррупционеров поджарить... потушить... сварить... Потом я подумал: «Стоп!!!» Сварить! Нафаршировать! Кныдли! И я побежал к Макарычу за сливами (картошка всегда есть в моем доме, откуда, не знаю). Макарыч был одет в белое кимоно и платок, какие носят арабы.

— Здоров Макарыч! Че так вырядился, — спросил я.

— Так мои родители же наполовину китайцы. Оба. Или обе...

— А платок зачем?

— Так они же на другую половину — арабы. Обе, то есть оба, — терпеливо объяснил Макарыч. — А сегодня их день рожденья. А я чту своих родителей.

— ААА. Мне слив, немного, для кныдников.

— Хорошо.

Так я пообщался со Степаном Макарычем. Прибежал домой и засел за терку картошки. Долго ли, коротко ли, зафаршировал шарики картошки кныдниками и сварил. Но есть не стал, так как был не голоден. Зато стал доволен но чем, не знал. Хотя счастье — момент неосознанного. А осознанное счастье — суть счастье по необходимости, по некоему социальному негласному договору, все должны быть счастливы. Моя вчерашняя незнаком-

ка счастлива, хоть ее насилует отец, а мой пьяный друг счастлив, хотя и нет денег на водку.

Пятница вошла в мою жизнь точно по расписанию — в ноль часов и ноль минут. «Здравствуй», — сказала пятница. «Привет», — сказал я и заснул. Утро я начал с того, что посмотрел в потолок. Потолок никуда не съехал. Потом я выкинул холодные вчерашние кныдлики и плюнул с балкона. Попал в свою соседку. «Это что, приглашение потрахаться?», — спросила она. «Нет, это я случайно, я еще сплю, я лунатик». «Так луны же нет», — возразила соседка. «Ты что?! Ты лунатиков за мудаков держишь? Нет луны — не беда. И солнце сойдет. Что же делать, ежели луны нет?» — недовольно бормоча, я удалился. Потом пошел гулять. Гулял-гулял. И надоело. Сел на скамейку (в парке) и стал смотреть на прохожих. Сколько все-таки уродов! Ужас. Одни ублюдки по улицам ходят. Страшные, заебанные, а главное — с пустыми, абсолютно пустыми глазами. Я пошел домой и остервенело нафаршировал двух судаков их же мякотью, овощами, припущенными на сковородке, маслинами. Добавлен в фарш был также и лимонный соус. Прежде чем судак дошел до кондиции в духовке, я выбросил его в окно. Потом подумал и выбросил туда же телевизор. Потом сел и закурил. Пошел в магазин за щукой. Оной там не оказалось. Пришлось нафаршировать шпроты. Я аккуратно стянул с каждой шпротины кожу, смешал мякоть с хлебным мякишем, луком жареным, яйцами, маслом, до-

бавил перца и кореньев. Положил нафаршированных рыбчат в бульон, поставил в духовку. Пока они были там, сделал себе яичницу и поел. Потом достал рыбок, выложил на блюдо, подал к столу с коричневым соусом с корицей. Потом спустил все это в унитаз. Шпроты, поди, поплыли на Балтику. Потом я еще покурил и заснул. Не раздеваясь.

Суббота — день отдыха евреев и их бога — ласково погладила меня по голове солнечным лучом и попросила встать. Я встал. Пришла соседка и попросила подписать петицию. «Лады», — сказал я и подписал. Делать было нечего. Может, рассказ написать? Я когда-то писал. Для школьной газеты. Я сел и написал:

внутренний рассказ

«Город был мрачен и стар, а воздух тяжел. Воздух состоял из отдельных дышательных шариков, которые надо было ловить, подпрыгивая. Все только этим и занимались, больше ни на что не оставалось времени. Спали по очереди. Пока один спал, другой совал ему в нос шарики. Воздуха становилось все меньше и меньше, он мерз и сгустками божьей крови падал на землю. Его пытались грызть. Никто не рожал детей. Никто не работал. Никто не ел. Через пять дней все умерли. Все, кроме маленькой девочки, которая лежала в своей кровати и спала. Когда она проснулась, она включила свет. Вклю-

чила свет. И пошла гулять меж трупов. Чуть позже она впустила в город новых жителей. И вот однажды...».

продолжение рассказа о фаршированном перце

Дальше писать расхотелось. Я подошел к окну. «Почему я не умею летать? Или умею, но не знаю об этом?». Я представил, как падаю из окна и ощущаю нечто неощутимое, я разбиваюсь, как телевизор давеча. Тяжело думать о смерти, когда суббота и светит солнце, и у тебя есть деньги. Я закрыл шторы, закурил, положил в пепельницу деньги и сжег их. Жаль, с субботой я ничего не мог поделаться. Я стал думать о смерти. Думал, думал и придумал:

внутренний рассказ № 2

«Итак, смерть — это то, что каждый испытывает, если, конечно, он не вампир. Вампиры тоже умирают, но редко. Смерть приходит, когда ее не ждут, и уходит, положив тебя в ящик, повесив на тебя бирку с номером. Смерть не приходит, когда ты ее ждешь, в это время она занята с другим. Вообще смерть — это не физиологический процесс. Это некое ОНО, и оно (туфта, в смысле туфта-логия) живет в тебе с рождения, как болезнь. Как опухоль. Я знаю не-

сколько людей, которые никогда не умирали, но они никогда не подтвердят это официально. А если я не хочу умирать (а я не хочу), то что же мне делать? Может, если не хочу, то и не умру? Возможно, то, что называется «смертью», есть земное выражение страшного суда. Или НЕстрашного суда (такой тоже бывает, смотря какой судья ведет твое дело: вечный или не вечный. Если не вечный, считай, тебе повезло)».

продолжение рассказа о фаршированном перце

Тут я бросился на кухню, фаршировать картошку. Она опять у меня имелась. Так я провел два часа без мыслей о себе, о смерти и обо всех тех уродах, что меня окружают. Когда картошка была готова, я плюнул на нее (для добавления соляной кислоты) и пошел танцевать под дождем нагишом. Ко мне присоединилась соседка, ее новый васек, а чуть позже и наши ангелы-хранители. Они так смешно танцуют, эти хранители. Все время пытаются взлететь. «Хорошим днем оказалась суббота», — вот с какой мыслью я заснул.

А воскресение попыталось было не наступить (видать, на горло собственной песне), но ему не позволили. Я УЖЕ ЗНАЛ, ЧТО СОБИРАЮСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ фаршировать. Перцы. Я пошел за ними. Я шел и думал: «Я, наверное, средний класс.

В смысле, что я посередине. Я не имею золотых хором, но и не сплю на вокзале. И мне нужны перцы для среднего класса. Не дорогие, упакованные по три штуки в пакетик. И не бросовые: кривые и гнилые». В магазине не было перцев. В другом тоже. Я пошел к Макарычу.

— Привет, старик, перцы нужны.

— Ты чего, не сезон.

— Мне очень нужны. Как воздух, как девочки, как мрачные мысли.

Макарыч, одетый сегодня в костюм тореадора, лишь пожал плечами.

— Увы. Прости. Не задерживай очередь.

Я поехал на городской рынок, но и там не было перцев. Никто не понимал, что нужно именно сегодня нафаршировать их овощами, даже есть не обязательно. Меж тем в голову лезли мысли. Я пытался защищаться от них купленным и выпитым пивом, порножурналом, отбивался всем своим естеством. День (он же воскресенье) решил кончаться. Я забегал в магазины, на рынки, подбегал к овощным лоткам... Пару раз мне попадались плохие, очень плохие перцы. Третий молдавский сорт. Но их я не мог фаршировать. Это означало предать, изгадить всю идею фаршировки. 19 часов, 20 часов, 21 час... Скоро будет новый день, и я могу не попасть в него. Жизнь пойдет дальше, оставив меня гнить у своей обочины. Я снова прибежал к Макарычу (он уже переоделся в униформу цвета хаки и отдал мне честь при моем приближении). Я упал на колени, в грязь, я плакал, молил:

— Степан Макарыч, родненький, спаси, помоги, ради всех святых, может, завалялся какой перчик, так я ничего не пожалею, уж ты знаешь....

— Твое время прошло, — сказал Степан Макарыч и закрыл свой лоток, закончил на сегодня (на- всегда) торговлю. Ушел.

Мне уже были нужны любые перцы, какие угодно, дорогие, дешевые, для элиты, для среднего класса, для пидараса... 22 часа... 23 часа... 23 часа и половина. Я уже дома. Я звоню во все службы, во все магазины, я выхожу на лестничную клетку в поисках перцев (а вдруг?). И курю, курю, курю. Думается:

внутренний рассказ № 3

«Ваше последнее желание? Сигарету. Сигарету? Конечно. Почему бы и нет. Вы что, курите? А. Я тоже, угощайтесь. Вот-вот, сейчас вас и повесят. Мысли-то какие, а? Повесят и повесят. Я уже привык. Не впервой. Да? А сколько раз тебя? Вздергивали? Да бывало, бывало. Докурил? Ну, все. Поехали. Пока. Ага, до свидания». 24 ЧАСА. РОВНО».

эпилог

«Неинтересно. Ни о чем. Галиматъя. Не пойдет, — сказала редактор, поглаживая свою старую пизденку. — Прощайте». Не пойдет? Ну и пошла на хуй.

ОСТАНОВКА

Призраки наполнили лес, нарочито пугая своей бестелесностью. Шорохи, их слабо осознанный иррациональный зов украшал вечер. Кукушка — пернатый побочный продукт времени — изъясняла свои нехитрые мысли. Зверь, то ли бобр, то ли выдра, выйдя на берег, испугался меня. Я сел на поваленное дерево. Взгляд вверх, взгляд вниз, оглядывание сторон, сторон света и себя в центре. Чувствую себя окровавленным омфалом. Сознаю властителем дум, любых, но не своих. Вижу в небе, вижу в земле, вижу в желудке земляного червя, состоящего из маленьких колечек и являющегося этими колечками по сути. Тишина прерывается и снова наступает. Сейчас бы зеркало. Увидеть зеркало. Подловить зеркало на отсутствии своего в нем отражения. Идешь на север, идешь на запад, идешь на северо-запад. Путь туда не близкий. Путь трудный, путь конечный. Набивая трубку, я не понимаю смысла жизни, выбивая трубку, я ничего не знаю о смысле жизни. Куря трубку, я впитываю никотин. Идя вперед, просто иду вперед. Вещи часто именно такие, какими они кажутся, это правильные вещи, эти вещи мне близки, их я беру с полки. Говорят, кто-то умер. Кто-то постоянно умира-

ет. Это свойство Кого-то. Кругом отчетливо пахнет богом, но у меня насморк. Девушка стыдливо признается в своей любви ко мне. Где-то рядом необходим тростник. Из него делают сахар, сахар сладок. Сладость влечет. Призраки обретают форму, беря мужское и соединяя с женским. Призраки подходят ко мне и садятся у моих ног. Я не учитель, я не бог. Просто поваленное дерево — место моего сидения — оно не велико, там нет места призракам. Обретая форму, они становятся со мной.

Сидя у реки (река должна быть непременно), сознавая себя не сознающим, я курю трубку, предполагая вечером закат. Закат холодный, закат красный, закат — как закат солнца. И больше ничего. Трубку тихонько хрипит, указывая на мои слишком поспешные затяжки. Я глажу трубку, успокаивая ее. Сидящие у ног обращаются ко мне, я отвечаю. Крокодил, сотворенный из облака, плывет вверху по своим делам, задевая лапами солнце. Крокодилом быть хорошо — много зубов.

Потерянный, я послал вверх зов, но не получил ответа. Отсутствие ответа — это удар по эсхатологии, смена вектора развития. Сидящие у ног обращаются, я отвечаю, почему вверху никто не даст ответа? Если бы у бога были уши, он бы их давно застудил. Если бы у бога ушей не было, он бы застудил нечто другое. Там холодно — наверное, там тихо. Идти на северо-запад, только туда. А северо-запад, и в этом я точно уверен, в любой стороне.

Путь имеет свойства, я их изучаю. Все мы изучаем свойства, никто не видит пути. Сидящие у ног спрашивают о моллюсках. Моллюски хорошо, их можно жарить, таково их свойство. Мы ищем следствие, мы смотрим свойства, мы очень далеко. Я устал писать, и это признак моего незнания. Самореализация — это объяснение себя другим, это бессмысленно, но приятно. Хорошо просто сидеть, и курить, курить таким образом, чтобы курение было единственной вещью в мире. И так во всем: мир действия полнее, чем мир слов. Можно спросить: «и что?». Спрашивайте. Главное, чтобы вопрос содержал ответ. Бестелесность возобладали в призраках. Как одежду, сняв форму, они, кланяясь, отступали в лес, оставляя меня курящего, держа путь ко мне Пришествующему.

ноябрь наблюдателя

Ноябрь — странный месяц. Он слабо отражается во времени. Его нет ни на одной карте. Его придумали арабы, когда в 14 векеплыли на юг. Им просто нужен был месяц для числа 11.

Ноябрь не имеет лица, в отличие от всех других месяцев, которых узнаешь по погодным и прочим признакам, с которыми можно поздороваться за руку. О ноябре нельзя вспомнить, когда его нет, нельзя представить. Январскую стужу в июне — пожалуйста, мартовскую ломкость в декабре — нет проблем. Но каждый ноябрь — особенный. Ноябрьри — не повторяются, они даются нам как высшая милость, как разгадка всех философских вопросов. Ноябрьской ночью, со стаканом портвейна в руке, с ветром, полюбившим твои уши, ты можешь постичь смысл жизни. И забыть его наутро, смотря в небо без солнца и облаков, даже не серое, а просто грязное, его еще не помыли, не протерли для того, чтобы в январе ты мог пользоваться им, как зеркалом. Я не знаю, люблю или ненавижу ноябрь. Наверное, когда как. Он вызывает во мне смешанные чувства; снизу, из подвалов сознания, появляется меланхолия и пепел давно скуренных сигарет. Так вот. В один из нояблей, кото-

рый был строен и устал, я и вышел из окна. Произошло это следующим образом. Я распахнул окно, ветер ударил меня, хлестнул, я встал на подоконник. Посмотрел вниз, потом вверх и сказал: «Если суждено мне умереть, то пусть упаду я на землю и сломаю все кости, и не скажу ничего более. Но если вдруг я должен жить, если есть какое-то у меня предназначение, то пусть я взмахну руками, как крыльями, и полечу. Пусть я взлечу высоко-высоко и смогу плюнуть на этот мир». И я взмахнул руками и ступил в пустоту. И упал с 10 этажа. С десятого этажа дома, где прожил все свои годы. И разбился о землю. И умер. Умер в восемнадцать лет, в середине 90-х годов 20-го века где-то в Москве. Осемнадцать почему? Так это как раз между семнадцатью и восемнадцатью. И звучит красиво. Но прыгнул я не весь. Тот, кто остался стоять на подоконнике, вздохнул, пошел в магазин, купил бутылку водки и пакет апельсинового сока, вернулся домой, смешал и долго пил, глядя на свое безжизненное тело внизу. И, думая, вспомнил одно из пяти своих воспоминаний, что называются «замещенными», а по сути, являются нелюбимыми, блудными детьми сознания. Это было давно. У соседей Ленки и Петра Май (это их фамилия — одна на двоих) был сын. Он родился не то дауном, не то аутистом, не то еще каким имбецилом. В возрасте 11 лет его впервые выпустили поиграть во двор одного. И дворовые ребята, увидев такой удачный объект для прикола, встали вокруг сумасшедшего и начали на него по

очереди ссать. А он лишь беззвучно смеялся. Смеялся ртом, а в глазах его, черных, больших и круглых жил страх. Но он там жил давно. Ребята очень веселились не зря прошедшему дню. А двенадцатилетняя девочка Вера, в которую я был влюблен и у которой уже выросла приличная грудь, сказала, что так ему, идиоту, и надо, и что папа сказал, что немцы у себя уже уничтожили всех уродов, и правильно. Потом прибежал кто-то из взрослых и всех прогнал, а потом прибежала Ленка Май и увела сына. Больше его во дворе не видели. Веру я не любил, тем более что ее грудь все росла и росла.

Вот такая история. Я посмотрел в окно на последствия своего суицида и не обнаружил тела. Я допил остатки водки с соком, посмотрел мутными то ли от водки, то ли просто так, глазами вниз и перевалился через карниз, сказав: «Мы не летаем сами, потому что не пробовали. Нам специально внушили, что летать человек не может, так как он не птица. При чем здесь птица? Некоторые могут летать. Если я особенный, то пусть взмою в небеса и приму душ из облака, а если я совсем обычный, то и помирать не жалко». Земля ударила меня изо всех сил и стало очень больно. И все.

Но тут, вдруг, я понял, что не прыгнул, а, как всегда, сыграл с душой в прятки. Некоторая часть все еще стояла на подоконнике и трусливо жалась к оконной раме. Я отправился в магазин и вспомнил еще одну забытую историю. Я иду в школу и пью пиво из бутылки. Рядом идет Андрей Иванов.

Андрей называет меня «васильком». Это кличка, этимологию происхождения которой я не помню, но она мне неприятна. Я что-то мямлю в ответ. Потом Андрей берет и бьет меня кулаком по носу. Потом — ногой по яйцам. Потом — в живот и снова по яйцам. Ты что, Андрей, говорю я ему, прекрати, ну хватит, ну забыли. Потом Андрей, который, кстати, старше меня на год, берет и толкает меня в лужу. Вся моя одежда, вчера постиранная мамкой — в грязи. Я беру кирпич и бью Андрея по темени, когда он отворачивается. Хотя нет, я этого не делаю. Я отряхиваюсь, как могу. В школу мы приходим лучшими друзьями, как кажется мне. Друзья — до завтра. Почему я не ударил его камнем? Наверное, будь он один такой... А так... Если с самого начала не поставишь себя как следует, то никакое каратэ-хуетэ в будущем не поможет. И психология вечного неудачника разовьется внутри, как плющ, заполнив мозг, и не уйдет никуда. Я смог это побороть. А вот мой один бывший друг — нет. Бывает. Издержки общественной жизни и образовательной системы.

Я снова у окна. Пью. Пришел закат и подмигнул. Завтра (если оно будет) будет холодно — закат ярко-красный. Недружелюбный. Чужой. Ноябрьский. И вот третья сила двигается во мне и говорит, что пора. А, хуй со всем, перебитесь вы со своим мироустройством, стойте хоть все в очереди на подсос! Знайте, что будет завтра, послезавтра, в ваши 85. Планируйте. Следите за материальным благополу-

чием своих любовников. Покупайте девочек, которые от бесконечных абортс никогда не стануа ма-терями. Покупайте мальчиков, которые бреют но-ги. Смотрите фильмы про героев-одиночек. И как легко они всех побеждаюа, переубеждаюа, как им никто не нужен, как они ебуа всех под театральные вздохи. Не хотите эмансипации — не надо. Не хо-тите сегрегации — хорошо. Хотите не даваа биаь китов, но разрешаа уничтожение толстолобиков? Пусть не будет противопехотных мин, но побольше ядерных боеголовок? Капитализм хотите. Да пожа-луйста. Я больше не возражаю. Пошли вы все!

А вдруг выживеешь? Станеешь инвалидом. Без но-жек? И тебе больше не даа никто так прыгнуаь. А вот вены вскрывааь — другое дело. И в гробу бу-дешь лежаа красивенький, чистенький. Хотя какаа разница тебе-то самому? Лучше крематорий. Или завещаа органы медикам. Пусть их продадут и ку-пят себе много спирта. Или кьянти (что это, кстааи, интересно). Вот-вот. Кьянти даже не пил, а собрал-ся с жизнью кончааь. Идиотизм. Но все же я вышел из окна. И ощущаа прелесть свободного падения, но недолго. Умер не сразу, успел увидеть, что я еще стою наверху и тупо смотрю на себя умирающего. Дааа. Все дело в том, что ментальный мир каждого из нас состоиа из пяти частей. Когда ты умираеешь, то они умираюа по очереди, как любящие друг дру-га сестры-свинюшки под ножом мясника. Когда ты не сам выбрал смерть, то они убегаюа от тебя бы-стро, стремясь отчитаться. Но когда ты выбираеешь

смерть, то они вроде как виноватые считаются, поэтому никуда не спешат.

Вот третья история. Девушка. Познакомилась со мной. В первый день мы целовались. Во второй — поехали за город: я, она и мой друг. Друг очень страдал, что он без девушки, я его утешал, говорил, что она, моя, мол, «давалка» и ей не понять всей глубины наших философских исканий. Друг напился и понес пургу, в том числе и о том, что я о ней плохо говорил. Ночью мы спали на одной кровати, и я трогал ее груди руками, языком и кусал их. Но более ничего она мне сделать не позволила, так как была, видимо, девственницей. И боялась. Или просто мой друг все испортил. Поэтому эта девочка решила поиграть со мной в любовь, она рисовала сердечки в воздухе и спрашивала, думаю ли я тоже так. Но я выиграл в эту игру, так как не любил ее. И бросил, сказав: «Я думал о своих чувствах к тебе. У меня их нет». Нет. Вру. Такие фразы говорят только в кино. На самом деле, я просто сказал ей «пока» и ушел. Я чувствовал себя сухой. Но сорокаградусная настойка и неуклюжие слова того самого друга меня успокоили. Потом эта девушка приходила и говорила мне «привет» и заглядывала в глаза. Я отвечал «привет» и смотрел на стену. Потом она перестала приходить. Она повесилась в общественном туалете. Хотя нет. Я ее недавно видел с каким-то уродом. Значит, повесился кто-то другой.

Я постучал пальцем по виску, проверяя, прочный ли у меня череп. Жаль, нет пистолета. Когда у тебя есть пистолет, ты сам владелец своей жиз-

ни. Как и жизни всех тех, кого видишь в данный момент. Приятно. Кстати, почему я хочу убить себя. Нет, не потому, что бывают разные страхи в жизни и все так несправедливо, и много ублюдков вокруг. И не потому, что мне интересно, что там после смерти. Эка невидаль. Просто мне скучно. Я успел себя исчерпать. Мне никто не нужен. Я никому не нужен. Вперед. На этот раз я прыгнул с разбега, чтобы попасть на асфальт. Не попал.

А историю четвертая часть души помнит такую. Стоял теплый Август (где стоял?) На Южном Урале стоял. Август стоял и плевал в воду. Курил. Подошла девушка с лошадиным лицом и пригласила его покататься на лодке. «Хорошо», — сказал он. Они плыли на лодке, и с девушки слетел вдруг верх от купальника. Девушка усмехнулась. Он прекратил грести, перешел на корму, поцеловал ее в губы. Потом ущипнул за сиську. Потом подумал, что не хочет ее и сказал ей это. Она надела верх. Чуть позже они плавали. Он влез в лодку. А она все не могла. У нее были слабые руки и большой зад. Она перевалилась кое-как через борт, но была вся в синяках — нежная кожа. Когда они вернулись, она сказала, что он ее изнасиловал. И ее старший брат с друзьями и со мной избили Августа. Мы выбили ему три зуба. Он заплакал. Через два дня, зайдя к ней и ее брату за советом о лучшем пути в горы, я застал их в процессе ебли. Она стояла раком, оба были голые. Увидев меня, они предложили присоединиться. И я согласился. А Августа нашли уто-

пленным чуть позже, когда я уезжал. У него был оторван член. Член не нашли.

Ночь. Ночь в ноябре тоже особая — жесткая. Она может укусить за ногу случайно запоздавшего прохожего и глупо рассмеяться. Звезд нету. Их берегут для декабря, января, наполняют неоном, сдувают вековую пыль. Я подумал, знает ли мой пес, как меня зовут. Решил, что не знает. Странно. Я его имя знаю, а он мое нет. И поэтому я ему говорю, какую принести палку и где можно отправлять физиологические потребности, а не наоборот. Ведь, по сути, кроме наличия шерсти, разного языка и способа хождения, мы мало чем отличаемся. И я оторвался от подоконника. Насмерть.

Все-таки это ужас. Насмерть. Так хочу я смерти или нет? Хочу. Зачем? Ну, каждый чего-то хочет. А ты не пробовал хотеть Эльвиру? Эльвиру? Это что за блядское имя? Это та баба, что живет на первом этаже. А как ее можно хотеть, она же страшная... Так у нее муж есть. Он себя убить не спешит. Ну, он дурак. У тебя все либо уроды, либо дураки. А разве не так. Не-а. Не так. Ты, кстати, кто? Дурак там, урод, хреносос, пизденыш? Я — отдельная тема. Потому что ты самый умный? В том числе. Камни — умнее, опытнее, и самодостаточны. Это ты к чему? Так ты камнем будешь в следующей жизни. В следующей? Это в какой? Это ты сейчас из окна выйдешь, помрешь окончательно и станешь камнем. Да? Че-то не особо хочется. А тебя никто спрашивать не станет. Думаешь, кроликом будешь —

шиш тебе. А все кроликами хотят? Почему? А потому — ни хуя не делать и все время есть и ебаться. Во время человеческого существования это считается идеалом. Ладно, расскажу тебе свою историю:

У тебя (меня) был брат. Когда ему было пять лет, вернувшийся домой пьяный отчим стал ему указывать на то, что брат неаккуратный жутко. Брат в очередной раз принялся сдувать пыль со своих никогда не трогаемых игрушек. И плакал. А потом пошел и плюнул в отчима. А тот его ударил и убил. Когда пришла мать с работы, отчим сказал, что брат бегал и ударился о дверной косяк. Отчиму поверили. А мне, трехлетнему, который все видел — нет. Брата похоронили, а меня, с девятилетнего возраста, отчим стал водить к психиатру. И тот меня лечил.

Серьезная хуйня. Так все плохо. Я прыгну и — свобода от ублюдков. «Стоп! А может, лучше убить отчима? И вообще наказывать всех, кто мешает жить — ударом ниже пояса, кривой ухмылкой или кривой рожей?» — сказал я вслух, нарушив тишину ночи. Вернее, раннего утра. Хотя нет — я хороший. Не буду. «Не буду ничего делать, пойду в магазин и возьму еще водки. А эти все — парки, магометы, иисусы, — пусть следят за порядком и делают выводы, если они (вся эта пиздобратия) существуют, конечно. Мое занятие — наблюдать», — решил я и не прыгнул. И ноябрь, впервые в жизни, подмигнул мне и снял маску. Знаете, он оказался милый. Теперь, когда он не работает (а именно в остальные одиннадцать месяцев), мы наблюдаем вместе.

метафизика днём

Убью себя, скоро. Выпью вот эти таблетки и умру. Остался последний разговор, чтобы окончательно увериться в отсутствии у меня шанса на спасение. Вообще я сильно хочу жить, жить вечно, пусть бессмысленно, пусть в страдании и несчастье (так может и лучше), лишь бы навсегда остаться собой, я.

Я очень боюсь смерти, наверное, я думаю, что это — конец (а что еще может быть «смертью?»), я согласен на всё, любой ад, только не это. Но бывают вещи, через которые нельзя перешагнуть, с которыми невозможно примириться. Любое горе, любую потерю — можно пережить, но нельзя пережить себя в своём понимании того, что есть ты. Двадцать пять лет назад мне сказали, что к сорока годам, если «не прекращу», я «получу» почечную недостаточность. В практическом смысле, помимо постоянных болей (с болью можно примириться: боль — благородно, достойно, круто), это выражается в том, что в вашем боку организуют специальное отверстие, в которое вставляется трубочка, с помощью которой кал (а также моча) выводится из организма. Это трубочка всегда при вас. В туалете вы достаёте из отверстия в боку спецзатычку, вставляете трубочку,

направляете её свободный конец в унитаз, и нечистоты покидают тело. Когда всё, до последней мутной капли, выходит, рекомендуется подождать ещё несколько минут — мгновений нечистой жизни, после чего ловким, но осторожным движением надо вытащить трубочку и вставить в тело затычку. Далее трубочку следует тщательно промыть в особом растворе, или, если нет такой возможности, прокипятить, и положить в новый стерильный пакет, специально изготовленный для трубочки. Когда вы становитесь совсем немощны, вам приходится так или иначе договариваться с другими людьми, чтобы они помогали вам в исполнении этих операций.

Все двадцать пять лет моей болезни трубочка становилась всё ближе, всё реальнее, и теперь она, наконец, ожидала меня в операционной — максимум через две недели. Когда мне поставили диагноз и сообщили о возможном будущем, я твёрдо решил (и никогда не сомневался в своём решении): я не буду жить с трубочкой! И я не буду жить-ждать в состоянии, когда бессилён даже морфий (настолько это больно и страшно), пока я не взорвусь изнутри кровавым дерьмом (к тому же наше гуманное общество вряд ли позволит мне выбрать этот вариант): я убью себя, как только мой симбиоз с трубочкой станет неизбежным.

Я ненавижу наше общество, я презираю людей, иногда даже себя. Я ненавижу всё, что можно назвать жизнью. А всё, что в жизни похоже на смерть, всегда придавало мне сил: осень, сырость дере-

вянного дома, одиночество в горах, почти любые «опасности», чужие похороны, заброшенные посёлки, сгоревшие деревни, ночь в целом (намного больше, чем день), книги (даже дешёвые) про мглу из глубины веков, и так далее, так далее. Конечно, меня радовал и уют костра в таежном распадке, и яркое солнце после недели дождливой мглы, и ресторан, и павиан. Но лишь постольку, поскольку им предшествовала та или другая мгла.

Мгла — это слово само по себе влечёт («Эти (что они) шли на восток, и следом бесшумно наступала мертвая мгла»). Если слово «тьма» предполагает коннотации с чем-то нехорошим, недобрым, сатанистским, то «мгла» — с Силой, с возможностью познать сущность всего, и Бог, он только и мог создать (всегда будучи этим), что мглу, не «свет и тьму», а Мглу: вечную и неделимую, исполненную тайной мощи. В отличие от Сократа я не делал из своих склонностей к проявлениям смерти в жизни вывода, что моя истинная цель — смерть, раз всё, похожее на смерть, влечёт меня. Я совсем не был спокоен при мысли о собственной смерти, моя личная смерть всегда меня ужасала. Наверное, меня всегда влекло то, что похоже на воскрешение, на избавление от смерти, а не просто на смерть, в каждой смерти есть намек на победу над ней, и я всегда искал подтверждения, что воскрешение возможно. Впрочем, точно себя здесь я не знаю.

Я много путешествовал, боролся с собой и с условиями окружающей среды. Один, с сорокаки-

логаммовым рюкзаком, я уходил на недели в горы, в леса, в болота. Я сходил с ума в городе, среди людей, я становился хуже и слабее. Я изводил своё тело и дух, я готовился к Битве, если не экзистенциальной, то хотя бы социальной. Я думал про себя, что живу лишь тогда, когда каждый неверный шаг может привести к гибели, что только так можно жить. Не гаснуть, не успокаиваться, не сдаваться ни в чём. Конечно, на практике я часто сдавался, но всегда стремился исправиться и теснил свою слабость.

Врачи, поставившие диагноз, запретили мне носить тяжести и любой холод, но если бы я их послушался, я лишился бы возможности оживлять себя, возрождать на дальнейшую борьбу, убивать бессмысленность «бытия». И я не послушался: почему я должен жить жижей? Я — подлинный герой (иначе жить не стоит), а не образ героя. Я не хочу, сам того не заметив, превратиться в желе, пусть даже в форме хозяина жизни.

Больше чем смерти я боялся умереть до смерти, поэтому и не перешёл на что-нибудь более «безопасное» для меня. То, что «у меня — «почки» не станет на пути моих действий препятствием. Прими я «почки» как доминирующий мотив моего существования, я умер бы намного раньше, умер в своём понимании смерти. Герой не может носить с собой трубочку для слива кала. Почему я не заболел туберкулёзом и не принужден жить в горах? Нет, я заболел «почками» и обречен на то, чтобы

стать мыслящим биотуалетом. Что искать и за что бороться, с калоприёмником в кармане? Разве что искать Бога, чтобы бороться ним: «За что?», «За что именно мне?».

В одной больнице я познакомился с парнем, которому отрезали ступню. Однажды его любовь подбила его пробраться ночью на завод (весело) и он наступил там на какой-то штырь. К врачам сразу не обратился. Развилась гангрена (пока они веселились «черная нога — скажи га-га»). Когда помимо черноты нога стала болеть, и парень вызвал скорую, врачи «спасли ногу», отрезав ступню. Его любовь не ушла, наоборот, стала к нему ближе и хотела быть с ним всегда. И он её безумно любил, но «ему пришлось её бросить». У Тристана было две ноги, и у Ромео. Если вы приняли жизнь всерьёз и честно — то вы Ромео, или задрот безногий. Нельзя жить чуть лучше или чуть хуже, можно или жить, или — нет. Необходимо чистота, если не первозданная, то хотя бы искусственная, совершенство — хотя бы в пределах несовершенных возможностей человека. Я понял этого парня, потому что я такой же. Или я сосредоточусь на своём кале и трубочке для него, или продолжу поиски Смысла. Если Бог создал мир, в котором существуют личные калоприёмники как единственная возможность для продолжения жизни, то это был не тот Бог, которого я ищу. Это как проблема «умирающих младенцев»: как можно говорить о Смысле человеческой жизни, если есть младенцы, кото-

рые умирают через несколько минут после смерти. Как это можно объяснить, как после этого можно успокоиться?

Впрочем, я бы расстался с жизнью, в которой путь — это трубочка, даже если бы не искал Смысл, чисто из эстетических соображений. Когда я в очередной раз лежал в больнице после одного из своих путешествий, то услышал разговор двух своих соседей по палате. «У меня, — начал один, — новая такаая... как из будущего. Бауш и Ломб, что ты думал». «Да-а? — завистливо отвечал сосед, — это — настоящая вещь. Такая подруга не изменит — хи-хи», — оба мерзко захихикали, смакуя ясную им сокровенную интимность. «Мой-то — шлангет — старый, но закален в боях, — говорил второй, — что только с нами не происходило. Он с годами даже прочнее стал, прочнее, но мягче, что ли... Вот один раз в гостях...» — конца истории о том, как шлангет доблестно спас своего хозяина от публичного каловыделения, я не услышал, так как при словах «с годами» — меня затошнило. Добежав до туалета, я, впрочем, подавил в себе рвотный позыв, так как мысль о том, как я буду блевать в пропахшем хлоркой туалете, заставленном тумбочками с баночками для анализов мочи, вызвала у меня еще большее отвращение. И я блеванул внутрь себя — на все свои великие рукотворные идеалы. Вернувшись, я услышал, как первый говорит второму: «раньше у меня была, розовенькая такаая... вторая, кажется, из моих...», — «и у меня, и у меня была розовень-

кая», — вставил второй, затем первый начал свою «забавную» историю, из которой он и его трубочка вышли победителями.

Люди недостойны моего блёва: даже здоровые особи с живостью обсуждают, как им удалось дотерпеть, когда так страшно хотелось в туалет, а туалета поблизости не было, и как они справились (умертив свою плоть?). Вот к чему житель большого города прилагает свою волю, вот предмет его настоящей гордости за своё хилое тело, за свой плоский мир. Анальный мускул — вот что нам действительно стоит качать, вот что нам по жизни пригодится!

Так жил я свою жизнь — размышляя обо всём таком, прыгая с камня на камень по руслам горных рек вверх, к непобедимому солнцу. Затем возвращался в «цивилизацию» и ложился в больницу, где антибиотики и капельницы возвращали мне относительное физическое здоровье. Выпивай я даже два ящика пива в месяц, я вряд ли бы нанес больший вред здоровью — как говорили врачи.

И вот моя жизнь подходит к концу. Прими я трубочку как родную (как кару Господню?), я всё равно умер бы как я, или общество съело бы меня, или я сам — от безысходности, от ужаса быть собою. И вот я вхожу в кабинет доктора Дубиной и здороваюсь.

— Располагайтесь, — говорит эта Дубина и улыбается. Я сажусь и спрашиваю:

— Готово? Можете мне сказать?

— Нам предстоит долгий, не очень приятный разговор, — отвечает она.

— Меня интересует только одно: вставят ли мне эту дрянь, нет ли шанса избежать...

— Да. Потребуется оперативное вмешательство, срочное. Очень срочное. Иначе...

— Я знаю, «что иначе», я много раз слышал. Мне вставят трубку?

— Трубку? Вы имеете в виду шланг калоприёмника? Да, конечно. Мы подберем вам калоприёмничек. Сейчас выпускают очень качественные шлангеты. Немцы...

— Я знаю. Бауш и Ломб, Фокс и Дизель...

Дубина фанатично улыбнулась:

— Еще Фишворкс — стоящий вариант. — На моём лице отразился такой тихий ужас, что Дубина, кажется, поняла, что меня совсем не радует предстоящий симбиоз с трубочкой, даже если это Фишворкс:

— Но, вы, похоже не рады... не расстраивайтесь! Можно обойтись и без операции, как вам должно быть известно.

— Вы шутите, разве есть другой вариант, — никогда не умирающая надежда готова была превратиться в уверенность в том, что это действительно так, от малейшего намека (хотя я точно знал, что никаких других вариантов нет).

— Вообще-то да, разве не знаете? — спросила Дубина так искренне, как будто это я прикидывался дураком, а не она.

Нет, этого не может быть, я бы знал. Но что если? И что может быть этим другим вариантом: вряд ли нечто более приятное, чем трубочка. Что там такие, как Дубина, могут придумать? Какую-нибудь веревочку, которую через прямую кишку просовывают внутрь, где крепят на вживлённый в стенку кишечника титановый крючок. Конец веревочки выходит из анального отверстия сантиметров на пять-семь. Когда наступает время по-большому (строго по часам), ты дергаешь верёвочку, тем самым освобождая кишечник. Таким образом, в техническом и процедурном отношении ты превращаешься в сливной бачок. А как быть с мочеиспусканием? Пока я соображал, Дубина снова заговорила, загадочно преобразаясь:

— Всё очень просто. Надо продать душу дьяволу.

Я вздрогнул от взрывающейся во мне пустоты, холода неуверенности, так же, как было много раз после того вечера, много лет назад. Но Дубиной я улыбнулся:

— Боюсь, что уже сделал это раньше, — и что-то одновременно повторило во мне не моим, но похожим голосом: «Рраааньше», и я дернулся (или что-то дернуло меня: в таких ситуациях при всей их определенности никогда нельзя понять — ты продуцируешь ощущение чего-то или оно приходит само).

— Ой, не накручивайте себя, — отмахнулась от меня Дубина, увидев, как я дернулся. — Ничего у вас тогда не получилось.

— Откуда вы знаете! — вскричал я. — Это ты — дьявол?

— Сядьте, — ответила Дубина (я вскочил и стоял, согнувши и напрягши все свои члены). — Сядьте. Продать душу не так просто, как этого бы нам всем хотелось. Лично я сто раз пробовала, но без успеха. Наверняка вы попробовали всего один раз и всю жизнь боялись честно спросить себя, что вообще тогда произошло, правда? И старались вести себя впредь хорошо-хорошо, следуя в определении хорошего чему-то вроде Библии для детей.

— Ну...

— Вы решили, что можете искупить этот проступок, исправить ошибку: ведь не может быть так, что одно недоброе действие перевешивает сотни добрых? Так, наверное, вы думали: «перевесить» — как в магазине. Даа... вы приняли какой-нибудь кодекс Хаювата: сверхэтического аскетического поведения, хотя на самом деле, следовали лишь предписаниям из Библии для детей (с картинками), да и то, наверняка, не очень охотно.

— Хаювата? Что это?

— Это я так, издеваюсь. Извините, — и Дубина снова рассмеялась.

— Чтобы продать душу, — продолжала она, — надо сильно, очень искренне этого захотеть. И еще надо, чтобы у него получилось купить. То есть не только вы должны покинуть Бога, но и Бог должен покинуть вас. Само желание должно быть таким — сокровенным, так чтобы и ваша смерть, и ваша от-

ветственность, в христианском, то есть в загробном смысле, не была преградой.

Пока она говорила, я стал дергаться.

— Хватит юродствовать, — брезгливо сказала Дубина. — Что, дьявола в себе иногда чувствуешь? Дьяволом себя чувствуешь, вечным злом?

— Дааа, rrrrrr, — ответил я, ощущая что это как бы не я мной говорю.

— Уууууу, — завывала в ответ Дубина и подняла вверх руки, словно собиралась ударить меня молнией. — Лезь под стол лизать ноги, уаааа!

Я вскочил и отбежал в другой угол комнаты, испытывая вечный ужас. Кажется, холодный пот выступил на моём лбу, или нечто подобное, не знаю что, я обхватил себя руками и боялся шевелиться. Дубина звонко, задорно смеялась. Смеялась долго. Потом она посмотрела на меня внимательно и нахмурилась. Встав со своего места, она подошла к шкафчику и стала там что-то перебирать. Потом быстро обернулась и бросилась прямо на меня. Я заорал.

— Ты дьявол, вечный дьявол, ты главное зло, Боже, спаси меня, сгинь, чертова дрянь... ааааа... аааааа...

— Уууууу, — орала Дубина. — Я — дьявол!

Она схватила меня (я оцепенел и не мог сопротивляться), повалила на пол и стала стягивать с меня штаны (я зажмурил глаза сильно-сильно, меня бил озноб). Не сняв их до конца, она села мне на пах и тут же хлестким ударом пробила мой жи-

вот. Я сразу ощутил страшную, резкую боль, которая лезла внутрь, волнами расплзаясь по телу... я не даже не сразу заметил, что она слезла, видимо, очень долго лежал напряженный, скукожившись, на влажном полу, ожидая болезненной, непрекращающейся смерти.

...

— Вставай, — сказала Дубина.

Только тогда я понял, что мне легче, что я, похоже, некоторое был без сознания, в смысле что я был, а сознания не было. Но я помнил, что передо мной не может быть дьявол, тем более, не вечный дьявол (его не существует), а нефролог Дубина. Я встал, слегка пошатываясь, дошел до кресла и залип. Дубина сидела напротив, выражая своим видом сочувствие мне.

— Ой, извините, — быстро заговорил я, — я не сумасшедший, я...

— Хватит якать! Ничего, если я поговорю, а ты послушаешь? Мы на «ты» будем, да? Знай, я очень тебя понимаю. У меня у самой так бывало. Ты, конечно, пробовал связаться со злом и оно после этого также пытается связаться с тобой, но у тебя не получилось, а потом не получалось у него. Ты же хороооший, правда? — и она презрительно фыркнула.

— А что, хороший — это плохо? Разве хороший не есть правильный? Разве вообще можно быть нехорошим? Я имею в виду не то, что можно совершить нечто дурное, но сознательно стремиться

к этому и достичь своей цели. Это означает противоречить себе, быть не-собой. А это невозможно: кто ты, когда не ты, если не-ты — гука?

— Можно, если не бояться. Сложно, но можно. Теоретически, конечно, это нэ-воз-мож-но, — передразнила она меня, — но мы не в теории. Все реально. Я права: ты больше не пытался связаться со злом, а когда оно приходило к тебе, защищался, как мог. Твоя душа всё ещё с тобой, идиот!

— Но я же продал её! Я понимаю, что для продажи души надо очень этого захотеть, захотеть искренне и по-настоящему, что бы это ни значило. Так?

— Ну.

— И я хотел в тот момент, я был честен и открыт. Я не просто сказал: «я продаю душу, а ты мне — яблочко», желая какого-то яблочка, но я хотел всей своей сутью того, за что продал, я ничего так в жизни не хотел. И почему вы считаете, что у меня не получилось?

— Потому что он не захотел. Ты ему предложил взамен не то, что он справедливо рассчитывал получить. Ты предложил мало.

— Он? Бог?

— Нет, дьявол.

— Но как это мало? Я отдал ему душу, разве это не цена сделки?

— Конечно, нет! Как люди вообще могут быть так глупы, — удивилась Дубина. — Зачем ему душа, сам подумай? Ты вообще как думаешь, что такое душа?

— Ну...

— Не знаешь ты, что такое душа, правда?

— Ну почему? Душа — это... это...

— А потому. Точно не знаешь. Можешь, конечно, привести ряд красивых правдоподобных определений. Именно «ряд». И ни в одном из них ты сам не уверен. И вообще ты в душу веришь не всегда, так? И что же ты пытался продать? Какую-то эфемерную вещь, которой у тебя, с твоей точки зрения, видимо, нет, а если и есть, ты даже не знаешь, на что примерно она похожа. Да на любом рынке тебя назвали бы кидалой, сукой, причем настолько глупым и бесхитростным, что даже бить бы пожалели. Что ты пытался продать? — повторила она. — ЧТО-ТО. Ку-пииите что-нибудь, возьмите все моё, не важно что! на помощь! мне плохо, я не знаю, что мне делать, спасите и помогите, ну пожалуйста, я всё-всё отдам! — и она смеялась, строя лицом сатанинские рожи.

— Никто не знает, что такое душа, а также есть она на самом деле в действительности или нет, — возразил я.

— Ненавижу, — зло сказала Дубина. — Ненавижу такой приём разговора. Нет у тебя аргументов — так ни у кого нет аргументов. Тебе что, легче от того, что это не только ты тупой, но и остальные? В компании тупых как-то не принято про тупость говорить, да?

— Ну и ты тогда тупая! — я тоже озлился. Боязнь дьявола прошла, был привычный теоретический спор.

— Возможно. Но что такое душа, я знаю.

— Круто, — (Она просто самоуверенная сука, — думал я, — вот к чему приводит боязнь большого члена). — Может, расскажешь? — спросил я ее саркастически.

— Расскажу.

— Лейдиз и джентлменз, — начал я. — Впервые в мировой истории, тайна души...

— НЕ ПАЯСНИЧАЙ! — закричала она. — А то каак покажу кое-чего, штучку странненькую одну, — и она так дернула лицом, что я дрогнул.

— Дурак, — сказала Дубина. — Трус. Думаешь, что если материализм, или что там ты считаешь «наиболее верной» философией, показывает бессмысленность и неправоту всей метафизики, ты сам ты от этого перестанешь быть метафизиком? Да не веришь ты в свой материализм ни на йоту. Ты в Бога веришь! Или не веришь, — заметив мой протест, поправились она. — Разница невелика. Ты как-то к нему относишься.

— Я — не материалист, — успел запротестовать я (словесный штамп «ни на йоту» своей такой человеческой обыденностью вернул мне уверенность в собственной правоте).

— Так вот, душа, — сказала Дубина, — это частица Света в тебе...

— Мощно. Это всё объясняет. То есть, непременно верно, что душа — частица света, а не вздох ангела... интерферон алюминия...

— Прекрати свою литературность. У нас с тобой не философский диспут, а серьёзный, жизненно

важный разговор. Я трачу своё время на тебя, болтуна. Похоже, впустую. Так что — пошёл вон!

— Нет, ну я не понимаю... — начал я.

— И не поймешь. Потому что для тебя важно именно понимать, разбираться во всем, быть способным верно, единственно верно знать, быть правым. Тебе не важно, что именно ты понимаешь, а важно, что ты понимаешь в этом всё, что только человек способен понимать.

Вдруг показалось, что она права.

— Извини, если что, — сказал я. Она не дала мне закончить пустую фразу:

— Всё. До свиданья. Подпиши тут, что согласен на операцию, или подпиши тут, что отказываешься. И уходи. Надоел.

Это меня очень испугало:

— Вы зачем-то говорили же со мной... говорили... обо всем этом... зачем? Вам что-то надо?

— Дааа, — она мерзко улыбнулась. — Всем от тебя что-то надо. Поездить на маленьком. Надо мне от тебя... просто решила, что ты чуть лучше, что с тобой можно поговорить...

— Да ладно, — эта сука явно не была альтруистом.

— Ну, надо. Знаешь что? Чтоб ты душу свою продал!

— Но зачем, какая тебе с того выгода?

— А прямая, — она опять улыбнулась, но не так мерзко. — Я надеюсь, что это поможет мне продать свою.

Я удивился, а она, видимо, решила не прогонять меня пока.

— Так ты хочешь душу на здоровье обменять, — спросила она, интригуя.

— Ну да, наверное, — ответил я блекло. — Я только не понимаю...

— «Наверное» — это хорошо. Значит, продашь. Не бойся. И слушай, только не перебивай. Чтобы продать душу, ты должен очень захотеть и попросить его.

— Но я хотел и просил, но ты же говоришь, что этого недостаточно...

— Недостаточно. Ты должен предложить ему нечто взамен. Душа, — опережая мой вопрос, начала она, — это божественное в тебе. Даже если бы дьявол и был способен её получить, он ничего не смог бы с ней сделать. Продажа души есть её расставание с тобой и возвращение к Богу... — она помолчала. — Главная история такова. Ты ведь знаешь, что есть битва Добра и зла, Бога и дьявола. Битва, в которой победит Бог (ибо дьявол, если он победит, станет богом, в том единственном смысле, в каком в это время торжества зла, после гибели доброгну-ню Бога-создателя, и будет только возможен бог). Но дьявол не победит. Его победа — это, по сути, вечный шах (если использовать шахматную терминологию), он способен достичь ничьей и бесконечно удерживать её ценой бесконечных усилий, но всегда будет шанс, что он не справится именно в тот момент, когда это будет необходимо, в момент

сражения что-то выйдет из-под его контроля, и он навсегда падет. Смотри: раз только Бог — совершенен (а мы не знаем другого совершенного)...

— Мы вообще ничего совершенного не знаем, — вставил я.

— Да-да, — рассеяно отреагировала она и продолжила, — то дьявол — несовершенен, он принадлежит нашему миру, и наш мир может принадлежать ему. Из несовершенной, неполной природы дьявола следует, что он, в отличие от Бога, может увеличивать свои силы и владения, и он может стремиться к тому, чем еще не владеет, и захватывать это. Он хочет стать совершенным, хотя и знает, что не сможет (совершенен только Бог). И вот он стремится к тому, чтобы стать властелином несовершенного, относительного, тогда как Бог — господин абсолюта. Дьявол стремится подчинить себе все возможные формы и проявления нашего мира, всё, что только может происходить, и тем самым стать абсолютным — в смысле, всем, что только есть. Тебе ясно то, что я говорю?

— Ясно, хотя, по-моему, это излишне литературно, чтобы быть правдой. А почему ты сказала «нашего мира»? Разве нет других миров? Или они подвластны лишь Богу?

— Нет, они как раз подвластны дьяволу, потому что он уже победил в них. Наш мир последний, все остальные его вотчина. Он получил их легко. Но в нашем мире у него возникла проблема...

— То, что у людей есть душа?

— Да. То, что люди могут выбирать. И они не всегда выбирают дьявола. Выбор дьявола означает отказ от души. Душа покидает наш мир, хотя даже если все души всех людей покинут его, он еще не победит, так как в мире всё равно останется добро. Добро — это то, что ещё вне его власти. Если он уничтожит добро, то покроет собой всё возможное, но это не будет Абсолютом с большой буквы.

— Нет?!

— Нет. Он не будет абсолютен, как абсолютен Бог. Он будет абсолютен в человеческом измерении, то есть все-относителен.

— Это значит, что он не победит, даже если победит, — спросил я.

— Он победит в той битве, которая только и ведется, — ответила Дубина. — Конечно, он не уничтожит Бога, ведь нельзя уничтожить то, что по своей сути неуничтожимо, что вечно-вечно. Цель дьявола — захватить создания Божии, стать полноправным властелином тленного.

— А цель Бога?

— Пути Господни — неисповедимы, — засмеялась Дубина. — Бог... Видишь ли, Бога, скорей всего, нет. Подожди, сейчас объясню, — предупредила она мои вопросы — если Бог — БОГ, как мы его понимаем, нечто вневременное, внепространственное, вечное и неизменное, нечто, что никак не может быть переменчивым и случайным, касаться чего-либо относительного и тленного, то Его всё равно что и нет. Он не может явиться к нам, не может

помочь. Бог — это название одной из наших гипотез о сотворении мира, антропоморфное воплощение принципа причинности. А вот дьявол — реален, дьявол — это завтра, каким оно может быть.

— Деизм, да? — спросил я.

— Какая разница? — ответила Дубина. — Это жизнь, Леша. Как-то так всё тут устроено.

— А откуда (кстати) ты всё это знаешь? — заинтересовался, наконец, я.

— Мой брат был святым, — просто ответила Дубина. — У него были разные откровения или что-то такое...

— Были? — переспросил я.

— Пока его не сожгли.

— Как это, — я не мог поверить, что кто-то кого-то жгёт. — Но кто? Сатанисты?

— Нет. Православные. В моем родном городе, — рассказала она, — он как-то зашел в церковь и стал поносить отца Никодима, нашего священника, а также всю современную Церковь. Отец Никодим прочёл проповедь о нём, призывая паству оградить Приход от скверны, льющейся из уст нечестивца, призывая кару Божию на его голову. Вроде того. И три молодые девушки-неофитки пошли и подожгли ночью его дом. Он, его жена и четверо детей-девочек — все сгорели.

— Какой мрак, — я действительно был очень расстроен. «А всё от того, — подумал я, — что хера на них нет, от сознания собственного уродства. Молодые христианки — это извращение».

— Мрак. Но ничего. Меня это — не очень. Раньше я постоянно плакала, а сейчас почти что всё равно стало.

Мы недолго молчали.

— Даа, — сказал я. — Как-то всё мрачно. Или нет? Или нет ничего мрачного, раз нет разницы, есть Бог или нет!

— Разница есть, — возразила Дубина. — Потому что есть дьявол — для всех и Бог — для тебя.

— Так дьявол победит, раз Бог не помешает ему? Дьявол захватит наш мир!

— Всегда будет оставаться шанс, что ему что-либо помешает, хотя бы один человек осуществит одну, упущенную дьяволом возможность... Смотри дальше: абсолютное и относительное — два возможных взаимоисключающих формообразующих измерения этого мира. Мы не знаем, каково абсолютное, так как всегда находимся в относительном.

— А откуда мы тогда знаем, что есть другое, как ты говоришь, абсолютное описание?

— Мы не знаем, а надеемся.

— Нет, ну понятно, но мы ведь не могли придумать такое! Как может тварь в тварном мире помыслить о Божественном, если ни в чем вокруг нет этого Божественного! Откуда мы, люди, вообще взяли эту идею об Абсолюте, о совершенстве? Это всё равно, что я возьму и, с нихуя так, сотворю из пальца Каравагу...

— Чтоо?? Какую «каравагу»? Ты чего?

— Ну, — я поторопился пояснить, — сотворю нечто, чего нет, не было и быть не может, нечто, о чём я не знаю, что это, и не смогу узнать!

— Да, — сказала Дубина, соглашаясь не ясно с какой частью моей фразы. — Тут такое дело: относительное не противостоит абсолютному подобно тому, как левое — правому. Конечно, если во всем мире, во всех возможных, мыслимых мирах, всё — левое, то идеи о существовании правого взяться неоткуда. Но в случае абсолютного и относительного — не так. Относительное — всё, в чём мы есть, и что мы есть по своей природе, таково, что мы как раз понимаем, что оно — неабсолютное, это заложено в нашем понимании мира. Это так же, как если бы в мире, где есть только налево, левое означало бы не совсем, не до конца правое, и все понимали это, но никто не понимал, что же есть это правое, которое должно быть вот оно, рядом, до которого осталось еще чуть-чуть повернуть. Но никто не мог бы так повернуться. Это как со стаканом, который всегда наполовину пуст...

— Да-да, тут мне ясно... Что же будет, если дьявол победит? Я так понимаю, что ничего не изменится: будет всё то же несовершенство, но только одно, та же относительность всего, но единственная.

— Правильно, — одобрила меня Дубина. — Молодец. Но в некотором смысле — изменится, и очень многое. О, в абсолютном измерении разницы не будет. Но в относительном — изменения бу-

дут гигантские! Ты хоть представляешь, что это будет за мир, в котором не будет добра, а будет только возможность добра?!

— А разве добро еще есть? — спросил я недоверчиво.

— Конечно, есть! Пока добра даже больше, чем зла, поверь.

— Ну, это же совсем неправда, — возразил я.

— Правда, — торжествуя сказала Дубина. — Просто зло просто больше говорит о себе. А ты больше его слушаешь. Став властелином всего несовершенного, дьявол станет вроде как совершенным, так как не будет ничего, что бы не было бы под его властью, ничего ему противного, ничего, что было бы добром. Хотя возможность того, что добро может где-то прорваться, естественно, сохранится.

— И что тогда произойдет с нашим миром?

— Не знаю... ничего, наверное, — вздохнула Дубина. — Когда дьявол станет властелином всего, он задумается, как задумываешься обыкновенно и ты. Если ты властелин всего, то чего же властелин Бог — властелин Всего с большой буквы? Но что это за Всё и чем оно отличается от того всего, что под твоей властью? Это что-то односложное? Но что? И он будет очень долго искать Бога, ища последней Битвы, бесконечно наращивая свою мощь и бесконечно удерживая свою власть над бесконечностью относительного. Потом он решит, что бога нет, так как не найдет его, и наверное, потеряет

мир, по крайней мере, интерес к миру. Но в итоге, я думаю, дьявол будет только бессильно взывать: «Где ты, Господи?», «За что и почему?». И он откажется от всего, так как не будет в этом смысла, но Бог не явится. Ибо недостойн.

— Или нет Бога, — закончил я за неё. И мы долго замолчали. Потом я сказал:

— Веселая сказка.

Дубина согласилась.

— Понимаешь, — сказала она, — чтобы дьявол, что называется, «купил у тебя душу», надо ему взамен предложить всё, на что ты способен. Ты должен сотворить максимально большое зло, которое можешь. Продажа души — это нечто злое, это не может умножить добро. Ты, наверное, попросил у дьявола то, чего он не мог дать, то, что было не в его власти. Одновременно это была твоя борьба с отсутствующим Богом, твоё личное «Где же Ты, Господи», твоя безысходность.

— Что-то подобное, — сказал я, вспоминая. — Я хотел помочь другому человеку...

И я сидел и думал, а Дубина молчала. Итак, мне надо сделать то, что я полагаю злом, чтобы сохранить свою жизнь. А зачем мне жизнь: смогу ли я понять Смысл и достичь бессмертия, если продам душу? Неясно, хотя, видимо, мои шансы не понижаются. Если душа принадлежит Богу, если душа — это что-то не моё, то её бессмертие никак не коснется меня, чем бы я ни был. Душа отправится к Богу, так или иначе. Богу — богово, мне — моё.

— Человек — бессмертен? Смысл жизнь есть? — спросил я Дубину.

— Не знаю, — ответила она. — Мне, в общем-то, всё равно. Я здесь живу.

— Разве ты не хочешь жить вечно?

— А зачем? — спросила она.

— Как раз чтобы понять зачем, — ответил я привычно.

— Мелко мыслишь, — сказала Дубина. — Теоретически. Хорошо жить хорошо. Плохо жить плохо.

— А плохо, это когда что?

— Это когда почки больные, например, — ответила Дубина. — Когда твой кал занимает в твоей жизни руководящую роль.

— Может, так и должно быть, вроде испытания там...

— Ну, если бы ты сам верил, что это так, то тебе не стоило бы возражать. Ты не веришь — и возражать тебе не стоит тем более, так как ты — согласен со мной? — Я понимаю, — добавила она, — ты вроде и боишься сделать что-то не так, а вроде и понимаешь, что мы состоим из атомов. Ты как бы Бога ищешь, но и сам не знаешь, зачем Он тебе нужен. Разве Он сделает тебя бессмертным? Разве Он откроет тебе (слова тайные, три)? А может, — она добавила ироничного пафоса, — ты против Его воли хочешь добиться и найти? В обход! Тайная лазейка? Я не знал что ответить, она говорила за всё, что есть во мне, ничему, как и я, не отдавая окончательного предпочтения.

— Бога боишься оставить, добро, да, не хочешь предать? Так Бог оставил нас раньше, намного раньше, чем мы его. И в любом случае, если ты умрешь, то, вероятно, ты вообще можешь потерять возможность об этом всё размышлять. Потому что тебя не будет! Тю-тю!

— Но дьявол же плохой, — сказал ещё я. — И я сделаю зло?

— Угу, он — пахой. Злёбный-злёбный, нехороший, — поддразнила она. — Понимаешь, если бы ты считал злом «помощь другому человеку», возможно, дьявол захотел бы от тебя именно этого. Всё больше внутри, чем можно подумать, но чтобы добраться до этого, надо идти вовне, понимаешь?

— Я согласен, — сказал я позже. — Я знаю, что можно сделать. Мы вырежем здоровую почку у кого-нибудь, и тем сотворим зло. И ты, и я, мы получим, что хотим.

— Почки редко приживаются, — ответила Дубина.

— Ну так дьявол нам поможет, разве нет?

...

Спустя две недели я снова захожу в кабинет Дубиной. Но за столом сидит не Дубина.

— Где Елизавета Сергеевна, — спрашиваю я.

— Больше здесь не работает, — отвечает тот, кто за сидит за столом Дубиной, но не Дубина.

— А где она? — я начал пугаться.

— Она умерла.

Я стою и смотрю на человека, с которым разговариваю.

— Не может быть. Что с ней произошло?

— Она стала мной, — отвечает он. Я смотрю на него и не думаю, что правильно понимаю.

— Да-да, Леша, это я. Видишь ли, я всегда хотел стать мужчиной. Иметь хер. Вот ради чего я и продал душу. Конечно, я мог сделать операцию по перемене пола, прожить после неё всего лет десять, на гормонах, с большим, но искусственным членом, и по-прежнему дрябловатой жопой, но я хотел более реально. Теперь я — доктор Дубина. Ду-би-НАА!

Я не знаю, поверить или нет, но поскольку мне это не так важно, я не буду об этом думать. Пойду отсюда.

— А что ты зашёл? — спрашивает он.

— Не знаю, чаю попить.

— А как, Смысл жизни потерял для тебя смысл?

Я не отвечаю на это. Быстро выхожу из кабинета и железным штырём насмерть пробиваю свой лоб. Затем я мёртв, и больше нет света. (Я думал, что выбираю между спасением своей жизни и добром, но я немного ошибался. Мы выбираем между бессмертием и смыслом жизни. Выбор между добром и злом — не смертельный, если он и важен, то для эстетики. Наш выбор: между стремлением жить и стремлением знать, зачем живешь. Я выбрал жить (жить вечно), но неизвестно, получилось ли бы у меня поймать когда-нибудь это «зачем». И то, как я достиг бессмертия, я думаю, не единственный путь к нему, но на всех возможных путях придется оставить путь к смыслу. Адам и Ева

из Библии выбрали смысл, а не бессмертие, поэтому их смогли «изгнать из рая». Кто бы их тронул, будь они бессмертны? Но и смысла они, я думаю, не получили, их, видно, обманули (а они умерли, так что без разницы). И вот как я теперь понимаю космологию. Бог, если он есть, зачем создал мир? Бог — бессмертен, а человек — нет. Бог всеблаг. И вот он творит человека, который смертен и знает, что смертен, и это ужасает его. Зачем? Затем, что Бог, собственно, сам ничего не знает, то есть не знает этого «зачем'а». И с помощью смертного хочет осуществить постижение смысла Всего. Он всеблаг, как мы помним, и предоставляет человеку выбор: или стать как он, бессмертным, или осуществить его желание и волю, проявить свою любовь к нему, постигнув Смысл. Ещё, правда, есть уродцы, которым вообще ничего не суждено, мясо, песок, туфта: вроде людей с трубочками для калопередачи, которых ожидает смерть в прямом эфире (они вроде как отходы богопроизводства). И Бог, и дьявол поддерживают равновесие в мире, которое не исчезнет, даже если один из них победит. Равновесие исчезнет и мир погибнет, когда кто-либо захватит Смысл и не умрёт. Но это по ходу уже буду не я). На экране телевизора странные, загадочные люди стараются руками попасть по мячику. Я смотрю на них, и я с ними, я — за них. Я пойду на кухню поесть, вернусь и постараюсь уснуть. Всё в итоге обыденеет, что бы ни происходило. Послезавтра я еду «в горы». Человек умирает,

когда всё для него становится привычно. Но я уже не умру. Теперь я мёртв настолько, что даже смерть не изменит меня. Я победил смерть, я свободен от неё, так как мёртв до её прихода. В этом секрет того, почему обыватели не боятся смерти. Что касается «смысла», то это категория смертных, и я уже никогда не узнаю, есть он, или нет (зато я на более высокой ступени развития). Я еду в горы на пикник: получать удовольствие, радуясь, и получать удовольствие, страдая. Теперь для меня нет ничего невозможного, я всё могу преодолеть. Только свет навсегда погас, но мы его обязательно зажжем! Зажжём лампой! Нам все по плечу*.

2004 (2008)

* Нам всё по колено, по хую и по плечу!
Видишь, Бог, я больше не дрочу.
Я не хожу в кино и водку не пью,
Не ем корову и даже свинью.
Я думаю о смерти, и пишу рассказ,
И всё ищу твой потаённый глаз.
Но всё не так — надо чем-то жить,
Я знаю, конечно, ты успел меня забыть.
Но я ещё здесь, я вроде бы есть,
А ты где? Ты нужен мне весь!
Ну что же ты хочешь? Чем я должен заняться?
Я вообще перестал курить табак и ебаться,
Я ем лишь растения, я людей, бля, люблю,
Но только потому, что мне всё по хую,
Ведь я знаю, что умру,
Иначе не будет — я умру,
Ты убьёшь, и я умру.
Я умру.

как дед михась древо жизни рубил

«Ух!», — сказал дед Михась. «Ну», — сказал дед Михась. «Тьфу», — сказал дед Михась и посмотрел на жизнь свою глупо, как бы со стороны. «Старый ты стал, — думал он, — старый ты, Михась. Не нужный никому. Дряхлый, волосы косматы, желудком слаб. Старому оно, положим, и ничего, только скучно больно, невесело как-то». «Юф», — сказал дед Михась и оглядел со всех сторон фигуру свою. «Фигура твоя неказистая вся и неправильная вовсе. Какой-то ты весь дурацкий, Михась». «Фигура — она всему голова. А у тебя Михась, что ни часть тела, то хрень какая-то. Тьфу на тебя, Михась. Один остался. Детушек схоронил. Много ли их, детушек, было-то? Не очень, оттого и схоронил. Много было бы, так бы в яму кинул, да и дело с концом». «К забору, что ли сходить, на забор глянуть, — рассуждал Михась. — Забор, он интересный и покосился больно, посмотреть, что ли».

Было утро. Летали мои вечные ласковые птицы. «Вечные» — потому как всегда были и упоминаю их часто, «ласковые» — так от того, что сердцем птичьим добры и тактом, а «мои» они, потому как мои и все. Хозяин я им, птицам. Еще ветер был.

Михась к забору шел, весь подбоченясь и теребя свой картуз. Картуз это так, для словца красивого, шапка шапкой, название одно. Забор, куда Михась привел свои старческие ноги (как ни странно, у стариков, при их описании, все имеет свой эпитет. Ноги там — старческие, волосы — косматые, руки — дряблые и сухонькие, уши вялые и мысли беглые). Забор Михасю был приятен. Забора было немного, всего жердей двадцать, и за забором не было ничего. Кто, для каких целей строил забор, это неизвестно, но забор жил, и заборною своей судьбою находился. Михась ранее на забор опирался (обопрется, бывало, и в небо глядит, жителей небесных лукаво озирает), но теперь забор был совсем покосившись и опираться на него было неудобно и опасно, казалось, что ежели опереться на забор дюже так, то и не станет забора никакого совсем.

Под забором на этот раз что-то сидело. Без долгих церемоний оно сказала:

— Михась, Михасюшка, здравствуй, что ли.

— И тебе того.

— Я, Михасенька, давно уж жду тебя. Когда же ты забор глядеть придешь.

— Вот он я. Надо чего?

— Знаешь, кто я? — спросило существо.

— Знаю. Гадость ты мерзкая и нечисть поганая.

— Ну зачем же так резко? Нечисть нечистью, а дело к тебе имею.

— Говори, дьяволюшко, — Михась сел и стал слушать.

— Михась, — сказало существо. — Скучно, Михась?

— Скучно, — подтвердил Михась, щурясь.

— Так, Михась, может продашь, а?

— Продам, отчего не продать, — сказал Михась и потупил очи свои михасевские.

— И весело тебе будет, и праздно.

— Да знаю, слышал уж.

— Ну так, подпиши, кровушкой, — говорило существо, протягивая некую бумагу.

— Не люблю я эту бухгалтерию, — сказал Михась.

— Нет, без бухгалтерии сейчас никак невозможно.

Подписал Михась. Весело ему стало сразу и задорно.

— Чего взамен хочешь, — спросил он.

— Ты о деревьях знаешь, — спросил дьявол, отбросив свою ненужную жалостливость и убогость, и непременно подбоченясь двумя конечностями.

— Ну, катехизису слушал.

— Так вот. Рубить надо одно. Потому как не нужно совсем и не рубить сейчас возможности никакой нет.

— Срублю, — сказал Михась. — Когда есть топор, рублю.

Дали Михасю топор, и пошел Михась, куда указали ему. Идет, совсем не думает. Долго ли, коротко ли, не наше дело, но пришел. Сад всякий вокруг, птицы мои непременно поют и запахи чудные и восточные. Дерево Михась нашел, что сказано

было, и рубить его стал. Рубил, рубил. Сутки там, двое. Ну и, когда дерево рубят, оно же срубаётся наконец. Так и это срубилось, и лежало теперь в таком виде. Сел Михась на пенек свежий и курить вздумал. Тут ему и говорят:

— Здесь не курят.

— Ась?

— Ась-ась, кому в зад, а кому в глась. Ладно, кури уж. Слушай: чего это ты так Михась? Ты зачем это? Мы тебе всяко благодетельства, а ты вон, на старости лет, древо наше рубить. Нехороший ты Михась. Угрюмый.

— Не угрюмый я, а радостный, — сказал Михась. — Радостно мне теперь и весело и приятно по-разному. Даже чай холодный и тот приятен.

— Дурак ты, Михась, — ответили ему. — Радость-то твоя искусственная вся и вообще не настоящая. Пьяная какая-то радость у тебя. Мы тебе раньше и жену, и дитяток, и самогону до дури, даже чудо однажды устроили, а ты древо наше рубить. Эх, дурак ты, честное слово.

— Ну вас, — сказал Михась. — Всю жизнь ко мне пристаёте со всей своей непосредственностью. Жена ваша — ерунда какая-то, чахоточная вся и ругалась страшно, дети так вообще чуть не дебилы уж. А самогон так и вреден вовсе. Чуда я вашего испугался. И пристаёте постоянно с нравоучениями.

— Мы на то и они, чтобы приставать.

— Они кто?

— Они и они.

— Да я еще всю жизнь думать о вас...

— О нас? А чего о нас думать? Вот они мы.

— Думать, да, чего так и не так, почему то, а не то, стремиться к чему — то, что потом вовсе не нужно. И еще понимать все приходится, чтобы от моды не отстать. Вот, весел я теперь, и нет мне дела до всех ваших страдательных залогов.

— Нет у нас никаких залогов, — говорили Михасю, смеясь. — Залоги какие-то.

— Все, — сказал Михась, — пойду я отсель. Что говорить с вами. Что ни говоришь, все одно дураком выглядишь. Дерево порубал я, идти пора. К забору вот пойду. Радостно там буду сидеть, а еще и забор.

— Михась, мы ж к тебе со всем сердцем..

— Да ну вас, — сказал Михась — да пошли вы своим сердцем... ! (тут Михась употребил крепкое русское слово, бывшее на самом деле слабым татарским ругательством. Слово означало его собеседников).

— Ах, ты так! Ну тогда мы в тебя сейчас молнию бросим, а то у нас космогония слабая, — сказали они. И бросили. Лежит Михась после удара молнии в себя, лежит возле срубленного дерева и ничего не понимает.

Тут мораль должна быть. Однако морали в природе нет, равно как и страдательных залогов, все это из области эфемерного кощунства и развитой не по годам мозговой активности. К мозгам надо подходить с умом и не думать много о том, чего

нет. То же, что есть — то и мысли не требует, только действия. Мораль вроде есть в одном музее, в Лондоне, там стоит она, смущаясь на всеобщем обозрении. Людей много, она (мораль) — одна, не знает она, куда себя деть и что она такое. Но незаконченные истории (вернее то, что понимается под незаконченной историей) ввергают людей в мысли о том, что и сам рассказчик (или автор) ничего не знает, а только вертит словом, как собака хвостом, и радуется своему нехитрому умению. Потому ниже прилагается некоторый смысл, который, впрочем, не нужен для понимания вышеизложенной сказки. По крайней мере для понимания сказки на некоем метауровне. Стоит сказать (или не стоит. Но я часто об этом говорю), что есть два уровня понимания вещей (если уж решил заняться их пониманием). Первый уровень знаком нам с детства и состоит в том, что мы стараемся докопаться до глубинного смысла вещи (явления, человека), предполагая наверное, что он, что есть смысл, непременно есть. Однако это не всегда так, потому этот уровень и означен как низший (то есть не для всего пригодный). Докапываясь до смысла на этом уровне, человек рассматривает все составляющие части вещи (явления, человека), их взаимоотношение и взаимовлияние. И тогда уж понимает вещь. Или решает, что понял. Однако Бога так понять нельзя. Потому есть религия, где логика строится на мифе (в самом лучшем смысле этого слова), а миф, в свою очередь, опирается на нечто до-

казанное, отнюдь не аксиоматичное. Хотя аксиома единственное, что можно приложить в качестве доказательства божественного, впрочем, разговор этот пустой (хотя не все разговоры такие), а получающееся в итоге таких разговоров божественное какое-то уродливое. Высший уровень понимания вещи состоит в том, что мы принимаем вещь такую, какая она есть. При этом не тратится время на разгадывание и рассмотрение свойств этой вещи. Мы понимаем, что яблоко — это яблоко, и все. Если в яблоке есть червь, то он есть лишь в тот момент, когда мы не смотрим на яблоко, а смотрим на червя, и в этот момент нет яблока (потому как момент этот — момент червя). Конечно, червивое яблоко отличается от нечервивого (и намного вкуснее), но восприятие яблока как червивого происходит уже в свой отдельный момент (момент червивого яблока), не относящийся к нашему совсем. Таким образом, всякая встреченная вещь нам внове и вызывает любопытство и желание. Что при низшем уровне восприятия вещей невозможно, так как при нем вещь уже произвольно маркируется и начинает жить в своем особом ящичке в мозгу. Что ничего, если это яблоко. Но если слон? Ведь мозги резиновые далеко не у всех. Кроме того, восприятие червя в яблоке противоречит созерцательному времяпрепровождению, которое необходимо при высшем уровне восприятия вещей. Если же отбросить аллегории (которые создают лишь видимость объяснения, а не объясняют, хотя безусловно ми-

лы), то высший уровень заключается в понимании всех свойств вещи, всей ее внутренней жизни разом, без рассмотрения. Тут, несомненно, необходим некоторый талант и опыт. Не то чтобы опыт в том смысле, что если рассматривать вещь много раз, то все подобные вещи будешь понимать уже без рассмотрения. Нет, это не так, это опять навешивание ярлыков и маркирование. Опыт именно в особом взгляде на вещи. В осознании того, что ты это ты, я это я, они это они, а яблоко — это яблоко. Впрочем, я и так много сказал, а вы и так мало поняли, именно потому, что стремились понять, а не воспринять. Добавлю лишь, что этот уровень требует некоего знания и представления об Абсолюте. Тогда и возможно такое восприятие. Тут возможны возражения (скажем, что этот уровень предполагает линейное пространство и время. А они вроде не такие, и многофакторность пространства устраняет, и предполагает в единицу времени лишь одного занятия или предмета. Все это оспоримо, но требует отдельного разговора, мы же лишь комментируем сказку, помните сказку? Вот о ней и разговор). Но, как и обещал, ниже мораль (или смысл) ранее данной сказки.

Итак, есть (вернее было, потому как, если помните, срубили), дерево в саду, одно из многих. Это Дерево Жизни. Почему оно так называется, я не знаю. Но оно всегда символизировало для меня жизнь. Дерево это редкое и не плодоносящее, зато с корой золотистой и листьями светло-зелены-

ми, пропускающими мягкий свет, давая ему зеленоватый оттенок, на корни, вышедшие из земли, чтобы этому свету радоваться. Это дерево — не более чем символ, но совсем не образ Жизни. Его поместили они (о эти вечно они! Кто они? «Да мы же это», — обиженно. Ау, Они, то есть Вы! Вы где. «Да здесь мы», — удивленно), да, поместили они, чтобы жизнь символизировать. Но дьявол (есть такой) отчего-то польстился и послал Михася рубить дерево, а тот и рад. Дьявол — он же земной совсем. Ему бы только символы уничтожать. Как будто они, символы, в чем-то виноваты. Если переплавить железную свастику в звезду Давида, ничего с ней (железой) не будет, зато будет удовлетворение переплавивших, они выполнили свою роль. Вот и дьявол удовлетворился от того, что древо срубили, и спать пошел (ну любит он поспать). Мораль же (которой вроде как и нет) в том, что дьяволов много, символов много, даже Их («нас что ли? Нас так, есть маленько») тоже много, а древо одно было и красивое. Жаль дерево, жаль красоту. Росло себе, его вначале символом заделали, потом и вовсе зарубили. Так все и происходит по-дурацки. Даже в сказках. Хочется в конце сказать что-нибудь по-французски, например вот «jesuispas», да воспитание не позволяет.

Из: Алдон Крохотник *«Две сотни и две русских сказки, с комментариями и дополнениями. От «Как Ани встретил Вани», до оголтелых гностицических ахинейств»*.

история одной семьи

Жил-был царь, и было у него три сына. Царь был Маздай. А сыновья так себе. Старший сын на охоту пошел. Принес птицу (немного птицы). Пировали. Средний сын на охоту пошел. Принес рыбу (охота была). Пировали. Младший сын на охоту пошел. Ничего не принес. Голодали. Старший сын умер. Горевали. Средний сын умер. Горевали. Младший сын не умер, живой ходит. Сколько сыновей осталось у Маздая-царя? Ни одного. Младший — дурак, он не считается.

Младший сын по дороге идет. Шел, шел, надоело. Сидит. Смотрит — солнце светит. Стал он с солнцем разговаривать:

— Свет мой солнышко скажи, да всю правду доложи.

Солнце доложило всю правду. Младший сын домой пришел, дома сидит. Сидел, сидел. Потом к царю пошел и сказал:

— Отсутствие отсутствия — не присутствие.

Подумал царь и тоже чего-то сказал. Потом еще подумал и замолчал. Три дня молчал. Решили все затем, что младший сын не дурак. Старому царю стыдно стало, он от царствия отказался и в гору пошел. Залез куда-то и остался там. Ночевал. Потом

жить там стал (на горе). Новым царем младшего сына избрали. Помыли (он грязный был), одели, на трон посадили. Царствовал младший сын какое-то время, потом перестал (потому что умер). Вот и сказке конец.

еще история другой семьи

Жил-был царь и было у него два сына. Третий умер в отрочестве. Такая тихая, добрая царская семья. Семья — ячейка общества. Все они сидели там (во дворце) и молчали. Однажды старший сын встал и пошел (ибо сказали ему: встань и иди). И ушел куда-то. Потом второй сын, что был младше старшего, но старше младшего (который умер в отрочестве) также встал и пошел (хотя ему ничего не говорили). Долго ли, коротко ли шел, неизвестно. Далеко ушел. Видит там (в лесу) старший брат его стоит. Стоит без какого-либо видимого занятия. Тот его спросил, чего он (старший) стоит. А старший молчит. Помолчали. Второй дальше пошел. Прошел шагов двадцать и встал. Дальше идти не может. Стояли, стояли, стояли. Долго стояли. Окаменели вконец. Люди по ним погоду узнавать стали в тех местах. А царь (что во дворце) стал жену искать. Искал, не нашел. Видно, померла в какой-то момент. Расстроился царь, расстроенный сидит. Тут вдруг младший сын (тот, что, думали, в отрочестве умер) входит. А он не умер в отрочестве, как думали. А просто был где-то. Вошел и как ударил царя по лбу дубиной (дубину с собой принес). Царь от этого всего умер. А сын его (что не умер) сел на трон и царствовать стал. Вроде даже иногда какие-то слова говорил, но мало. Вот и сказке конец.

история одной семьи, в деталях и диалогах

Жил-был царь (и не было у него трех сыновей). «Ау, сыновья мои», — вяло произнес царь и отправился на поиски. Обыскал во дворце все и не нашел сыновей. Позвал гонца. Пришел гонец. «Иди, сыновей моих найди», — бросил ему царь, собираясь почивать. «Ваша милость, но у вас нет сыновей», — робко произнес гонец. Они немного попрепирались по этому поводу. Потом гонец все же пошел искать. Искал, не нашел (а время шло). Пошел во дворец и прикинулся сыном царя (боясь, что царь обидится, если не привести никого). Вошел в залу (в зале царь), говорит: »Ваша милость, нашел я сына вашего, младшего» (а царь именно младшего особенно найти просил, говоря: «младшенького моего уж отыщи, и на том спасибо»). «Пусть войдет», сказал царь. Гонец вышел из залы и снова вошел, но уже прикинутый младшим сыном. «Я, — говорит, — младший твой сыночек». На том и порешили. «Вот и ладненько, — сказал царь, — ты тут на трон садись и царствуй, а я пошел». И ушел куда-то и насовсем. Сел гонец на трон и царствовал. Такая сказка была.

тайная история одной семьи

У царя одного было что-то, поразительно напоминающее трех сыновей. Живет царь, живет. Потом нет-нет, да и посмотрит, что же у него трех сыновей-то напоминает. Не поймет, и сидит в раздумье часами (а волк в лесу живет). Однажды у царя болел живот. Да так сильно, что он кричал. Ходит по дворцу и кричит «Ей, Ей! Дворец мой дворцушенька!». Потом царю надоело кричать (а животу — болеть). Царь лег и стал все время лежать (а волк ходит в лесу). Лежал царь, лежал, а одно ухо у него пропало. «Где ухо-то?!» — гневно воскричал царь и отправился на поиски. Искал, искал, нашел. Обрадовался (а волк в лесу ходит). Надоело царю, что волк в лесу ходит, пошел он в лес, тут волк и съел его. А то, что напоминало поразительно трех сыновей, на поверку действительно оказалось тремя сыновьями царскими. Обрадовались братья, сели и давай пировать. А после царство на три части поделили и сделали еще чего-то. Так про Рашмураппи говорят.

Покон. Улыбаются продавщице и продавцу. Что-то нужно от них, но это не мешает покою. Пространство перемещения вязко, словно кисель. Стоим в очереди: тут пятеро: у каждого своя история, своя жизнь, своя любовь. Старушку нежную, нежноглубокого цвета волос, ласкаем словами. Вам помочь? Вы желаете? А может? Наслаждаемся общением старушки и продавцов. Сказать точно, сказать метко, выразить доброту. Просто через край существа льется благодать, утренняя безмятежность. Здесь под вязом и там под тополем хорошо. Моя очередь. Моя? Словно взрыв в кисельном пространстве, мощно и немного зло Я вхожу в себя. Я чувствую свое собственное, особое существование. Параноидально оглядываюсь. Страх — вот первое чувство единичного бытия. Сейчас меня поймут, вычислят. Убогие магазин-голографические (или другого неживого происхождения) деревья на стенах, морда старухи — убогие ослепшие глаза. Эта очередь к прилавку — очередь жестов, каждый машет, выполняя общую программу. «Индви», — говорит продавец мне. И тянет руку чтобы что-то дать. Они никогда ничего не отнимают, они только дают. Таково общество — оно меня-

ет твою природу, не отнимая все то прекрасно-красивое, что в тебе и не было никогда, но одаривая своим прекрасным безмятежным и сладким. Мы — это счастье без тебя. Мои мысли, видимо, видны, или так решает мое шпионское сознание. Продавец тянет руку, и тут я взрываюсь спиной, я оживаю глазами. Два крыла вырываются из моей спины, посетители магазина бегут прочь, парами, налево и направо. Я взлетаю вверх, и весь покой остается на полу, выходит из меня, я вспоминаю все что я кажется есть. Я замираю в воздухе, я дышу. Внизу восстанавливается потревоженное мною пространство. «Индви», — ласково зовет продавщица, и покупатели тянутся к ней. Видно, кто из них подойдет первый. Это высокий мужчина. Для них страшен не такой как я, понимаю, я нарушение в таком, как они. Если к прилавку, после моего вознесения, первым подбежал бы не мужчина, а женщина, это было бы для них странно. Или нет? Они всегда объяснили бы себе, почему так, а не иначе, причем это не категория — «это женщина, видимо, очень храбрая (ветеран войны, спортсменка)», они бы в тот же момент, когда совершалось бы действие, уже знали (а не думали), что так надо. Что иначе быть не может. Это прекрасно. Общество планомерного фатализма. Меня затянуло вниз. Я вспоминал о времени там, как вспоминают трах. Так же — как вспоминаешь женщину, тебя и движение, уходя от нее (и зная, что можешь вспоминать весь день), я вспоминал с чувством радостного признания себя вни-

зу. Это общество слабо, слишком слабо взмахивая крыльями, думал я, оно не дает Ответа, но у тебя и не возникает вопросов таких, которые требует Ответ. Что я могу противопоставить в себе этому сладкому киселю жизненного покоя. Если я не верю в Бога и в бессмертии сомневаюсь, то что я могу дать себе вместо счастья? Ведь не сознание своей исключительности? Не ветер, что бьет меня здесь, наверху, не то, что я наверху. Неужели просто быть собой (в чем никогда нельзя быть уверенным) заменит мне счастье? Одна моя знакомая, когда я был молод (а был это четыре тысячи лет назад) говорила, что во время занятия сексом нет страха смерти. Ей просто повезло не перейти на следующую ступень отрицания?

Я так задумался, что почти опустился на пол магазина, что периферийным зрением (или оно как раз основное?) уже отметил приятный шелест деревьев на стенах. Кисель втекал в меня, пока я себя не закрыл. Я просто запретил себе развиваться вниз, я взмыл со всеми нерешенными вопросами внутри, я летел, с такой силой перебирая крыльями воздух, что они трещали, во мне ненависть. Вот то, что всегда удерживало меня на грани. В мое время (если считать, что сейчас не мое) сказали бы, что это грань между конформизмом и революцией, обществом и автономностью, правителем и праведником. В мое время слишком любили слова (особенно красивые), и вот к чему это привело. Ненависть — то, что удерживало меня от уничтожения

других и отказа от себя. Я летел, яростный ангел
ночи, но ребенок (взрослый?) внутри меня твердил
«индви, индви» и мечтал вернуть утраченную сла-
дость и абсолютную веру.

1.1. *Вначале было слово. Потом он произнес его, и слово потеряло свою значимость.*

■ Мы с Лизой играли в котят на берегу мертвого-мертвого моря. Дул сильный ветер. Была гроза. Молния, кажется, совсем близко, ударила в воду. Мы лежали на гальке, глядели в неприветливое осеннее небо, на мрачные темно-зеленые отблески света в воде, и думали, что тепло. Что тепло, что светит солнце, дует обнадеживающий и жизнеутверждающий легкий бриз, что земля прогрелась, и что мы хотим друг друга. Но был холод. И гроза. Холодно. Было тяжело испытывать физическое влечение в такой ситуации. Мы были мертвые. Во всяком случае, Лиза. Она подставляла отсутствующему солнцу свои подмышки и шурилась, ей казалось, что свет попадает ей в глаза, сжигает сетчатку, оставляет свой автограф, видный, когда глаза закрыты. Лиза была мертва, поэтому вела себя неадекватно. Не адаптивно. Не честно. Мертвым лучше. Они видят то, что хотят, а не что им показывают. Закат. Он возник, когда его не ждали. Солнце тонуло в холодном море. Ярко. Лиза продолжала играть в котенка. Их топят в детстве, из-за того, что их слишком много. Это и есть вселенская правда.

Это и есть превращение вещей. Это слово, истинный смысл которого остался в предыдущем веке. Лиза все играла в котенка. Я попытался ее растолкать. Но она была слишком мертвой. Небо продолжало заигрывать остатками заката. Я ушел. Не оглядываясь, не играя в чужую жизнь, как лошадь с зашоренными глазами, я двигался прочь от лизы (теперь, когда я знаю, что она умерла, могу писать ее имя с маленькой буквы) в сторону леса, вечно темного леса, я был один, и значит, меня не было.

1.2. Вначале было слово. Потом оно обратилось в действие, и его морфологическая нагрузка иссякла. Я двигался по недружелюбному лесу. Было темно. Я плакал. Вроде бы я жалел лизу и желал навеки так заснуть, как смогла она. Умирать — это искусство. Японцы взрезают себе живот, римляне — вены, пингвины вмерзают во льдины, педерасты делают вертикальный взрез своей природы от ануса до рта. Лиза была мертвой и ей было все равно. Но я переживал. Когда мы вышли с ней из морской пены (теперь я понимаю, что это была Его сперма), то я вышел живым, а она — не совсем. Мы жили на берегу 5 дней. Она мертвела все больше, пока не ушла туда, откуда мы пришли, то есть не стала тем, чем мы были ранее, иначе говоря, стала котенком, и стал выполнять все функции, связанные с этим. Мне было жаль себя, так как теперь я был лишен возможности любить, ведь кроме нас с лизой вроде и не было никого и никогда. Я все шел по лесу. Потом мне это надоело и я перестал. Я лег и зарылся

лицом в мягкую и влажную землю. Потом я стал ее есть, прямо ртом, не поднимая головы. Потом я заснул. На этом день сошел на нет.

1.3. *Хаос был раньше. Он заигрывал с отсутствием всего. Еще был ветер. Они друг другу не мешали.* Я проснулся от того, что меня кто-то ест. И правда. Зверь (а это был именно он) как раз догрызал мою левую руку. Придется дрочить правой, подумал я. В это время зверь, как видно, насытился и ушел. Было больно, но я терпел, ведь мне сказали, что я мужчина, а мужчина должен терпеть. Остатка руки должно было хватить на большую тарелку супа, но не было кастрюли и соли. Я доел ее и так. Боль не утихала. Я закурил. Хотя нет. Я не умею курить и не знаю, что это такое. В общем, я совершил действие аналогичное курению. Я пошел. Отсутствие дороги, по которой я двигался, делало мое передвижение бесцельным, но идти вроде как надо было. Я шел некоторое время, хотя что такое время я не знаю, но не важно. Потом с неба (оно же крыша) упал банан. Я его проигнорировал. Он меня тоже. По-моему, я не люблю бананы, они меня тоже. Мы друг друга не перевариваем. Во всяком случае, я их. Позже я присел отдохнуть на пень, но он сломался. Посмотрев внутрь пня, я увидел, что он пластмассовый. Поливинилхлорид. Или метациклин. Или гидрохлорид. Или метациклина гидрохлорид. Химия сплошная. Сидеть больше не хотелось, и я уснул. Перед сном я поел земли. Хотел подрочить, но не смог. Так как не умел. Рука (та что отъели) бо-

лела. Как она может болеть, если ее нет, подумалось. Значит, или она все-таки есть, или она не болит. Руки не было, убедился я, бросив в нее беглый взгляд. Боль тут же стихла. Я поел еще земли и заснул. Второй день моей жизни истек.

1.4. Вначале не было ничего. Ни меня, ни тебя. Ни Ван Би. Это было не так уж плохо, поверьте.

Потом Тразея Пет взял в рот у Гаутамы Будды, а полученную в результате сперму выплюнул в реку Рубикон. Сперматозоиды приплыли в море, оплодотворили его, и появились мы с лизой. Эта версия эволюции кажется мне наиболее правдоподобной. Не было никаких обезьян. Это позднейшие инсинуации. Обезьян и сейчас нет, если вдуматься. Не было никаких богов. Они появились гораздо позже. Вначале было слово. Но не знаю какое. Я тем временем проснулся. Потом перевернулся на другой бок и снова заснул. Когда я проснулся, светило солнце. Оно светило за облаками, и поэтому я его не видел. Первое, что я обнаружил при пробуждении, было то, что у меня снова есть левая рука. Пластмассовая. Она плохо сгибалась в локте, но в целом была похожа на не пластмассовую правую. Впрочем, правая тоже может быть и пластмассы. Не знаю. То, что мой пенис из титана, это я уже понял. Итак, солнце светило, но не мне, зато пошел град. Когда он кончился, я понял, что он проломил мне череп. Очень приятное чувство, когда в черепе дырка. Завтра починят, наверное. Зашьют. И тут я вдруг подумал, что у меня была собака. Когда-то. Что или кто есть со-

бака, я не знаю, но то, что это у меня было, очевидно. Она была маленькая. Терьер (это, видимо что-то среднее между барьером и интерьером). Я опять начал двигаться. Увы, я не могу описать местность, по которой я шел, так как она то была, то нет. Она не всегда была зрительно ощутимой. Иногда я двигал ногами, а местности или любых окружающих меня предметов не существовало. Более того. Само их существование казалось невозможным, нереальным. Но запахи были всегда. Я их всегда ощущал. Все время. Вообще-то запах был один. Смешанный аромат коньяка, мочи, секретий всяких; лесом тоже пахло, но невнятно. Как-то исподволь. В общем, я двигал ногами, и это вроде бы влияло на изменение действительности. Скажем, процент елей раньше был на 7,8% больше, чем сейчас. Это значение статистически значимо. Голова болела из-за пролома, но мозги могли напрямую общаться с миром, постигать язык птиц (что было проблематично ранее, когда мозгам мешала черепная коробка. «Все коробки на помойку! Построим новый, светлый мир, без коробок, телевизионных ящиков, ящичков, в которые играют, и, конечно, без людей, этого проклятия рода человеческого!» — говорил пламенный революционер Авраам Линкольн), язык зверей и деревьев, шепот мертвых и живых насекомых, воздух и ветер, воду и прочие осадочные явления. Одна птица говорила другой, слышал я: «В глубине души они (проститутки) ненавидят одна другую. Ни от одной из них мне никогда

не приходилось слышать дружественного воспоминания о ком-нибудь из ее многочисленных товарок...», а вторая ей: «Во глубине сибирских рудников был проведен эксперимент на эффекты психологии научения. Испытуемые были помещены в состояние эмпатии по отношению друг к другу... «...Тут, не дослушав птичий щебет, я провалился в самое черное из возможных отсутствий сознания и мыслей, я перестал осознавать все что есть и чего даже нет, думать я не мог. Ничего больше не существовало. Последняя мысль, за которую я цеплялся, исчезая, было: «Ну и птицы пошли. Совсем охуели.». Мысль не выдержала моего веса, и меня не стало.

1.5. Вначале не было ни хуя. Ни-ху-я. Ни вагины соответственно. Ранние растениеобразные размножались отпочковыванием, грубо говоря, ебли себя сами. Но дух божий, что носился над волнами, не потерпел такого разврата. И появились мы с лизой. Вначале она, потом я. Я вышел из забытья. Голова еще болела, но, по крайней мере, на ощупь, была без пролома. Зашили, наверное. Состояние было муторное, как с похмелья. Был вечер. Где-то, где меня нет, это был тихий осенний вечер, листья падали на землю или земля на листья, кто уже спал, кто еще нет, но главное, им всем было Там сухо. Впрочем, раз Там нет меня, значит никакого Там нет. В районе моего местосуществования шел дождь. Нет. Не шел. Лил. Лил и лил. Сильный. На самом деле всему можно противостоять. Но не

грозе в лесу. Островская Катя или Катин Островский, наверное, сильно бы охуели от такой грозы. Это им не быт мещан! Впрочем, о существовании этих индивидов я ничего не знаю, так что судить не берусь. Было уже даже не мокро. Порог мокрости был, видимо, преодолен, пока я спал. Просто хотелось окончания дождя, или как там это называется. В голове было сильно пусто и дул ветер. Все мысли, что были раньше, исчезли, были другие, не мои. Мысли, скорее, эвристики, подсказывали, что надо укрыться. В пещере. Там сухо, тепло, уютно и, главное, не льет. Мысли были здоровые, но не мои. И все же я стал думать о пещере. О норе. Обо всех видах укрытия. Когда я подумал о пещере, она тут же появилась дали. Впрочем, может, я заметил пещеру краем глаза, не придав значения некоему новому периферийному объекту своего визуального восприятия мира, что натолкнуло меня на существовавшую в голове ранее чужую мысль о пещере, заставило меня оглянуться, и тут-то не только увидеть пещеру, но и осознать факт того, что это пещера. Долго ли, коротко ли, но в пещере я оказался. Она выглядела так, как представляет себе пещеру человек, ни разу там не бывший. В пещере я задумался, кто я собственно такой, или что такое. Куда я иду. (К этому моменту мне стало очевидно, что куда-то я все-таки иду. Причем ни куда, ни зачем, не знаю.) Мне стало интересно, чьи мысли наравне с моими живут в моей голове. Действительно ли я живу, а лиза мертва, или все совершенно иначе.

И вообще кто такая лиза. И кем была, когда была еще Лизой? Она вроде мне сестра. Старшая. И, кажется, я был бы не прочь ее отъебать. Конечно, это инцест называется, и очень плохо. Но лишь в том случае, если ты знаешь, что есть инцест, что есть хорошо и что есть плохо. Это я все думаю так. Типа, странно как-то: думать я могу, сознавать, что я делаю — нет. Почему я ем землю. Она же не вкусна. Тем не менее, в этот вечер, как и во все предыдущие, я отведал землицы и заснул. Или сделал что-то, что является эквивалентом этого слова.

1.6. *А если вначале не было никакого слова? Или это было слово, скажем, БЛЯДЬ? Что тогда? Это бы сильно расстроило представителей религиозной конфессии, я думаю. Я просыпаюсь от этого слова, я засыпаю под это слово, вся мою жизнь проходит под его знаком, а я не знаю, что это за слово. А может, нет никакого слова? Может, ничего нет. И меня в том числе? Хотя нет. Я есть. Вроде бы. Я очнулся в пещере. Пол (именно пол, паркет, стилизованный под камень) холоден. Сегодня я проснулся не как обычно, под действием некоего слова, а просто. То есть, никто не хотел, чтобы я проснулся, а я тем не менее это сделал. Теперь я не сплю. Думаю. «Если динозавры вымерли так давно, что даже боги их не застали, значит ли это, что динозавры — это и есть боги. Есть ли своеобразный эффект первичности, или нет. Уран еще не ебал Гею, Чжуан-цзы не играл в бабочку, а динозавры уже ходили по земле. Кто на двух лапах, кто на четырех. Кто создал*

динозавров. Одно мне понятно: мое существование является единственным и исключительным в том контексте, в котором я нахожусь». Тут мои рассуждения были прерваны, меня выключили. Я снова растворился в своем подсознании, заснул. Все-таки просыпаться надо от слова, а не просто так. Видимо, Тразея Пет и его сотоварищи знают, что делают, знают, что мне можно, а что — нет. Хоть бы эти боги женщину мне дали. Я, правда, не знаю, зачем, но тот нездоровый интерес, что вызывала во мне лиза (вернее, ее физические отличия от меня), видимо, рано или поздно должен был удовлетворен. Кстати. У меня точно был собак (или собака). Гильгамеш звали. Но что это, не помню. Или изначально не представляю.

1.7. *Вначале простой еврейский парень Адам любил сам себя. Потом переключился на Лилит. Она была из пластмассы. Потом Ева. Потом он имел Магомеда. Гигант. Не было никакого слова. Специального. Был лишь любвеобильный парень Адам. От самого себя он произвел австралопитека. От Евы иудеев. От Лилит — всех остальных. (Лилит он любил больше раз). От Магомеда — педерастов. Интересно, как определить, педераст человек или нет. Вот я, к примеру. Лежу в пещере, не ебу никого. Может, я пидор? Это ведь страшно. Живешь себе, никого не трогаешь, а тут оказывается, что ты, по идее должен с пидорами тусоваться. А все из-за хромосом каких-то. В общем, проснулся я днем. Вернее, очнулся. Мир был темен. Как я понял, пока*

я спал, боги обрушили стены пещеры. Надо выбирать. Я попытался представить себе, что нет никаких обломков, но не сработало. Я стал как-то выбирать, при этом сильно поцарапался и сломал ногу. Как, не пойму. Починят, наверное. И вообще. Я тут девушку просил, а они меня на прочность испытывают. «Бабу давай!» — закричал я. Мой крик эхом отразился от оставшихся стен пещеры. Я вышел из пещеры и понял, что за время моего пребывания там кто-то хорошо поработал над тем, что я называю реальностью. Стало меньше белых пятен, ольше пластмассовых и титановых объектов появилось вокруг, выросла трава из стеклопластика, хотя покрасить ее еще не успели. Она была прозрачна. Сквозь нее я видел черный цвет. Черный цвет. Кстати, о титане. Мой пенис вовсе не титановый, как я думал, а настоящий, из пластмассы, как и весь я. Просто он иногда бывает тверже титана, не знаю почему. Я продолжал оглядываться. И хотя я с легкостью отличал материал, из которого была сделана одна конструкция, от материала, послужившего первоосновой для другой, ни названия этих материалов, ни их химические формулы, которые всплывали в голове, ничего мне не говорили. Они были сухим осадком прошлой жизни. Или прошлой смерти. Что одинаково прошло и пошло. (Куда пошло? Куда уходят наши старые души? Или мы их просто выкидываем на некую общую помойку. Или в душевую, где струя ржавой воды смывает их в канализацию.) Итак, интерфейс моей жиз-

ни изменился в лучшую сторону. Я пошел, вернее, поскакал по камушкам, заботливо выложенным так, что при скачке с одного ты попадал на другой с большим трудом. Ноги начали ныть о своей незавидной доле очень скоро. Вернее, одна нога, так как я на одной и скакал. Вторую, намеренно сломанную, так и не починили. Она была в состоянии болевого шока и даже не болела. Я прыгал, падал, вставал, прыгал, и так до бесконечности. Зачем я прыгаю? Не знаю. А зачем вообще живу. Наверное, объяснять смысл существования можно по-разному, но в целом мы живем, чтобы прыгать. И не более того. Нам сломают что-нибудь, а мы все равно вперед ломимся, нам всем своим видом показывают: стойте, ребята! А мы прыгаем. Куда, зачем. Просто. Так прыгали наши предшественники, так прыгаем и мы. А куда допрыгать невозможно. Так как это нам кажется, что мы прыгаем. А на самом деле мы все давно и продуктивно сосем. Поскольку я один существую, то если найду бабу, или мне ее подарят, то детки наши тоже будут прыгать. По камушкам. Рядом стрекозки летают, и солнце полный такой, насыщенный свет дает. Тепло. А мы прыгаем, потеем и на ходу обсуждаем наши неудачи в тех или иных видах прыжков. Впрочем, что это я «мы» говорю. Я один тут. Наверное, мне обидно, что я совершаю вещи, смысл которых мне не ясен. И которые кажутся мне ненужными. И еще мысли не мои в моей, вроде бы, голове. Хотя голова и не моя во все. А пластмассовая.

1.8. Слово было большим и громоздким, как старый шкаф из ДСП. Оно довлело над происходящим, происшедшим и тем, что произойдет. Плюс к этому оно определяло, что имеет шанс случиться, а что должно остаться лишь в проекте. Это было слово, произнесенное мертвым. А этимология таких слов сильно отличается от обычных. Когда стало казаться, что при следующем прыжке сломается и вторая нога, я остановился. Я лег на пол. И подумал, что дальше не пойду. Чужие мысли малость повыступали, им не нравилось мое горизонтальное положение. Но против физиологии и ее особенных, нервных и не очень, окончаний и проявлений бесильны не только чужие мысли, но и мои собственные. Я лежал, и мне казалось, что небо сейчас упадет на меня, как стены пещеры давеча. Я запутаюсь в ватном облаке, небесный клейстер, которым звезды ночью приклеиваются к небу, затечет мне в рот, в нос, во все поры моего тела, я задохнусь. Но, пожалуй, этого не будет. Небо сегодня было как всегда черным, шел дождь. Впрочем, дождь всегда шел. Ежесекундно что-то с неба падало. Я и не подозревал, что бывает так, когда нет дождя, а тело сухое на своем большем отрезке. Я вроде знал, что так бывает, я похитил, украл это знание у чужих мыслей, они так наводнили мой мозг, что им было тесно. Я лежал и плакал. Просто к этому обязывала ситуация. Потом, так и не евши, я заснул. И уже не увидел, как из-за пластмассовых кустов вышли двое и стали чинить мои ноги. А мне снилась пу-

стыня, там дул ветер, и две песчаные крысы рассуждали о превратностях судьбы.

— Берцовку новую ставить будем, — одна говорит.

— Да. Наверное. А чья берцовочка-то была, а? — ее напарница откликается.

— Да негра одного. Он, блядь, в помойке жил, сука, в рот его. Ну, заловили, ногу целиком оттяпали... Ты, эта, держи крепче. Ага, вот так. Сейчас мы эту хуйню присобачим...

— А негр че? — поинтересовалась другая крыса.

— Какой, в пизду, негр? А... этот. Ну, его там и кинули, на хуй он нужен, Василич, только, по-моему, хер его на память забрал. Он же педераст теперь, вот и коллекционирует. Давай, держи крепче...

Дальше мне надоело смотреть сон про крыс, и мне стала сниться лиза, мы играли с ней в котят, и волны нежно щекотали наши и без того счастливые пятки.

1.9. А вдруг не было ничего вначале? Вдруг не было никакого начала? Все существовало изначально, но в задаточном существовании. Все мыслители — говно. Все мыслители только и делают, что объясняют всем свои комплексы рассказывают о том, чего не понимают. Какая мне разница, что они думают о моем происхождении? Я даже не знаю, существуют ли они вообще. Но точно знаю, что все мертвые — идиоты. Но довольные. Я вышел в мир из черного небытия. И сразу же задумался (не знаю почему) о том, может ли мертвый толстый похудеть

после смерти. Так ничего и не придумав по этому поводу, я решил поощушать свое тело и ощутил, что сломанная нога странным образом зажила. И даже не болела. Это открытие не особо порадовало меня. Будь нога по-прежнему сломанной, я бы мог сегодня лежать. Просто лежать и смотреть в пустое (безоблачное), темно-серое небо. Мрачное и неуютное. Такое небо было всегда, или я не помнил другого, но, каждый раз, смотря вверх, я надеялся на солнце. На его лучи. Хоть один забредший по неопытности в этот мир лучик. Какое там. Никогда такого не было. Солнце я любил, как все неизведанное, как все, чего в моей окружающей реальности нет. Я даже поклонялся солнцу. Хоть и знал, что мир создал Афанасий Фет. Я был язычник: от мозга до костей. А Фет, кажется, действительно был богом, и, создавая мир, сказал что-то вроде: «Я помню чудное мгновение / Мирок сегодня создал я / Но скоро будет воскресение / Тогда восславите меня». Как видно, несмотря на организаторские способности и божий дар, поэтом Фет был не самым лучшим. Итак, надумавшись вволю о своей жизни, я поскакал, так как проснувшиеся одновременно со мной и во мне чужие мысли уже всюду настоятельно мне рекомендовали пошевеливаться. Я зашевелился и попрыгал. На восток. Теперь я знал, что прыгаю на восток, это сказали чужие мысли. Восток — так восток. Похуй, куда прыгать. Пока прыгал, в памяти (это такая вещь для осуществления когнитивного теплообмена) всплыл мой с кем-то

разговор, или иллюзия одного. Мой то ли бывший, то ли гипотетический собеседник сказал:

— Понимаете, при освоении таких районов нам необходимо учитывать очень большое количество различных факторов, векторов и секторов. Только личный опыт плюс помощь профессионалов в различных областях способны дать действительно аутентичный и конгруэнтный результат. Лишь в случае прямого присутствия индивида в изучаемом секторе может сделать теоретические предположения и экспериментальные данные по-настоящему релевантными друг другу.

Я ответил:

— А чо, блядь, платят-то, до хуя? Просто так здоровье подрывать и рисковать своей ебаной шкурой не хочу.

— Да вы не волнуйтесь, мы много заплатим, на всю жизнь хватит. И постарайтесь при мне, пожалуйста, не произносить слов, которых не вербализовали бы в присутствии вашей родительницы. Я знаю, что вы великий ученый и испытатель, и мне горько видеть нынешнее ваше состояние.

— Не пизди, — сказал я ему — ты, блядь, сам хули не идешь на эксперимент. Сам-то, поди, диссертацию-хуетацию пишешь. Об этом. И мои переживания и чувства облечешь в холодный язык ученых. Мразь ты. Хотя похуй; я согласен.

— Спасибо. Я в состоянии неопишуемой эйфории, хотя ваш нынешний вид вызывает у меня глубокую эмпатию.

— Хуятию. Деньги чтоб завтра. Эмпатию он испытывает. Выучили слов умных, хренососы. Поубивал бы всех.

Дальнейший разговор я забыл. Впрочем, я не уверен, что он и был, как и в том, был ли он вообще. Одно я ясно понимал: это был мой разговор. И я продолжил свои скачки, более ни о чем не задумываясь. Ведь необычайно тяжело одновременно думать и прыгать с камня на камень. Так могут лишь Гай Юлий (но он уникам) и лягушки (но они слишком глупы, чтобы понять, что это невозможно).

2.1. *Вначале была книга. Одни называют ее «Байбл» (на английский манер), другие — «Трактат о пути и потенции» (на китайский манер), третьи — «100 лучших анекдотов» (на плохой манер). Книга состояла из слов. Первую «Байблу» издал, и давно, Гуттенберг. Еврей, наверно. Вообще евреи придумали все умное (включая байку про жидомасонский заговор). Еврей Ньютон — что яблоко может больно упасть на ебло. Еврей Эпикур — что можно и нужно есть все и много. Еврей Шикльгрубер — что евреев можно уничтожать в большом количестве. Первую «Байбл» читали древние немцы. Им было интересно. Они читали ее вслух, при большом стечении народа, по очереди. Те, кто читали «Байбл» особенно хорошо, получали много еды и не работали. А я продолжал свой скачкообразный путь. Скоро начался(ось) торнадо. Так сказали чужие мысли. «Эта хуйня вокруг — торнадо». Вокруг действительно было малопрятно. Но я был внутри, внутри себя, внутри телесной оболоч-*

ки. Оболочку корежило и от нее отрывались кусочки, но я, я сам, был внутри, и не рассматривал тело как себя. При таком подходе к себе легче переносить торнадо. Это крайне адаптивное поведение. Итак, снаружи торнадо, а внутри я рассуждал о том, что и трех ребер не пожалел бы за девчонку. Так, с торнадо снаружи и с диссонансом внутри, я и заснул. Прямо на ходу. На прямом ходу. Я ведь прямоходящий.

2.2. Почему всем так интересно, кто и зачем создал мир. Почему все, хотя бы иногда, думают о смысле жизни. Да нет никого смысла. Это была чья-то шутка. Неудачная. Когда я проснулся, то не мог понять, день или ночь. Не знал, где я. Это было что-то с крышей, и дождь не шел(!). Это было странно. Я лежал, а надо мной, в воздухе, находились две груди. «Считай, мы твой сон», — сказали они. Я ущипнул себя. Увидев это, груди колыхнулись и рассмеялись. «Это хитрый сон. Его так не идентифицировать. Ты хотел бабу, это я», — сказали груди. И действительно. Помимо двух молочных желез имелась и девушка, со многими другими, не менее интересными местами.

— У меня член, вроде, титановый, — сказал я.

— Хуйня. У меня влагалище резиновое... Шучу, конечно, — сказала она, увидев испуг в моих глазах.

Только тут я понял, что умею вербализовывать свои мысли.

— А ты откуда, и как звать тебя?

— Миранда. Вообще я младший научный сотрудник института солитологии. А раньше блядью была.

— Это как?
— Ну, за деньги давала, короче.
— И где получала больше?
— Ты еби меня лучше. А то сон закончится скоро.
— С удовольствием. Кстати, вот ты — Миранда, а как меня зовут, я не знаю.

— Это да. Ну, ты бы придумал себе имя, все равно один существуешь.

— Может, Адам.

— Не. Адам — это банально. Адам. Скажешь тоже, — она усмехнулась.

— Тогда, — Тразея Пет.

— Ты охуел. Тразея — он один только такой, воон там, — она показала вверх — живет.

— Ладно. Без разницы.

Я взглянул в ее серые глаза и провел рукой по левой груди. Потом, одновременно глядя ей волосы и левую икру (причем, все действия — одной рукой), я начал чувствовать все нарастающее возбуждение... (Половой акт описывать не буду, лень. Считайте, что в тексте — лакуна.)

2.3. Я знаю, что горы раньше были равнинами. Я знаю, что равнины раньше были дном морским. Я знаю, что раньше люди жили меньше. Я многое знаю. Зачем. Эти горы слов в моей голове. Зачем это бессмысленное познание. Надо просто лежать и смотреть в небо. Так больше поймешь. Я вернулся в свой адовый мир. Ночью была милая реальность, спокойная, и с красивой девушкой. Напоследок в моем полусне (или недояви) она сказала, что скоро пере-

стану воспринимать то, что происходит со мной, так как это больше не будет происходить. Я умру, сказала она. Обнадежила. Чужие мысли сказали с утра, что я почти дошел (допрыгал). Действительно, обстановка изменилась. Лес кончился, началась холмистая местность. Впереди были горы, с их умением забирать жизни тех, кто лезет по ним. Это к лучшему. Я больше не скакал. Надоело. Когда нечто надоедает, даже рефлексивное поведение вполне изменимо. То есть когда не просто что-то надоело, а действительно загло. Вдруг я оказался перед горой. Просто долго рисовать и придумывать холмы не может ни один бог. Гора возникла сразу, уже в виде заманчивой каменистой верхушки. Ни предгорья, ни предлесья, ничего. Просто как данность дали гору. Из-за резкой смены климата у меня началась акклиматизация. Что вкупе с вечным дождем дало эффект озноба. Как тут не вспомнить прошлую ночь, с ее отсутствием дождя, как явления. Вот это счастье. Я стал карабкаться вверх, но тут же сверху на меня упал камень и ввел в состояние комы. Поскольку при потере сознания человек ничего не помнит, а процесс его (сознания) поисков занимает определенный временной промежуток, я не могу описывать то, что происходило далее. Нет, несмотря на отсутствие сознания, я все понимал и чувствовал (видимо, задним умом), но не могу об этом говорить, из-за общего мнения, что в коме нельзя что-либо понимать и о чем-либо думать. Таким образом, я выказываю определенный конформизм.

2.4. Жизнь — это череда не согласующихся между собой событий. Смерть — это цельное мгновение, разделенное на пять. Человек — это подвид семейства парнокопытные, царство грибов. Действие — это то, что помогает человеку продвигаться из одного фрагмента жизни в другой. Слово — это то, посредством чего мертвые общаются с нами. Сноува болит голова. Камень, расколотый на части, лежит рядом. То есть части лежат рядом. Части камня. Я поднимаю голову, ощупываю ее. Болит зверски. Пытаюсь встать. Не могу. Кажется, сломан позвоночник. Сверху вместо дождя капает мазут. Мазутом красят землю в черный цвет. Заодно красят и меня. Так как я на земле лежу. Теперь я негр. Тут я и думаю: «А кто я, на хуй, такой, собственно?» Эта мысль заинтересовала меня до необычности, насколько может заинтересовать мысль тогда, когда у тебя сломан позвоночник, а сверху капает мазут. И тут я вспомнил, кто я такой. И сразу исчез пейзаж, меня окружавший. Реальность стала той, о которой я знал ранее. Но не помнил.

2.5. Мы все переходим из тьмы в свет. Мы постоянно меняем себя. Нас постоянно меняют. И лишь после изменения ты понимаешь, как нелеп ты был. Так говорил Мэн-цзы патриарху Люю. А Люй ему сказал, чтобы тот на хуй шел. Такие они, даосы. Я лежу в палате больницы и прихожу в себя. Входит мужик. «Ты, — говорит, — как?»

— Нормально. Болит только все.

— Вспомнил все, что не знал?

— Да. Я вроде бывший ученый. И согласился участвовать в эксперименте по эффектам научения.

— Не совсем, — возразил мужик, — мы тебя наебали. На самом деле это был эксперимент, направленный на изучение выживания индивида в среде, не благоприятствующей этому, при давлении на его ментальные реакции и когнитивные элементы с целью выяснения способности индивидов к подчинению и гипнозу на расстоянии. Мы влияли на тебя с помощью сенсорно-сенситивного стереостетоскопа, при поддержке телепатического внушения психологов института солитологии. Ты работал там раньше. Пока не начал принимать алкоголь в дозах, мешающих правильному осознанию реальности.

— Блядь. Так я и знал.

— Ты прекрасно демонстрируешь феномен «Я-так-и-знал» или «ошибку хиндсайта».

— На хуй иди. Денег-то мне дадут...

— Дадут. Но не тебе, а твоим наследникам.

— Не понял.

— Тебя уничтожат через 2 минуты, — мужик посмотрел на часы, — ага. Через две. Сам понимаешь. Эксперименты у нас секретные. А ты алкоголик. Вначале хотели использовать тебя в закрытых экспериментах Милграма на послушание (то есть на переносимость электрических разрядов), но пожалели. Ты многое сделал для науки. А если бы не стал бы вдруг вспоминать о том, кто ты, еще больше бы сделал. Ладно, я пошел.

- Угу, — сказал я.
- Удачи тебе у Аида.
- Спасибо. Вам тоже. В личной жизни и труде.
- И в пизде.
- А в пизде — неудачи.

Он ушел. Зашла Миранда, та баба, что я во сне ебал, и повезла мою койку из комнаты по коридору. На расстрел.

2.6. *Хуй.* Миранда поставила каталку у кирпичной стены и ушла. Я встал к стене спиной. Взвод гвардейцев стоял напротив. Они докурили, зарядили ружья и при команде «пли» выстрелили. Я стал падать. Не коснувшись еще лбом земли, я уже был мертвый.

2.7. *Вначале было слово. Но он произнес его, и слово стало хуем.* Я стоял на берегу мертвого-мертвого моря. Лодчонка со стариком на борту качалась на его волнах. Я увидел, как Лиза бежит ко мне. Лиза! Она была метра в двадцати, и я крикнул: «Ты сестра мне?» «Нееет. Это в эксперименте так было!» — крикнула она в ответ. Она добежала и мы, ничего не говоря, стали любить друг друга. И долго это продолжалось. Так долго, что Харон вытащил свою лодку на берег, плюнул и пошел пить чай. Все равно, что было в начале. Мы с Лизой играли в котят на берегу мертвого-мертвого моря. Всю нашу смерть.

Уменя бронхит. Приходил доктор и сказал, что мне осталось недолго. Мы выпили за упокой моей души. Теперь я лежу на кровати и смотрю в потолок. Доктор сказал, что скоро зараза спустится в легкие. Тогда он отвезет меня в больницу. Оттуда — в морг. Я закуриваю. Глубоко затягиваюсь, кашляю. Мне нельзя курить, но я это очень люблю. Звонит телефон. Дзинь. Дзинь. Дзинь.

— Алло.

— Привет. Это Настасья Никитишна?

— Да, — соглашаюсь я.

— А можно Петра Петровича.

— Можно, — говорю. Отнимаю трубку ото рта, затягиваюсь. Другим голосом:

— Это я.

— Петь. Это я, Жером. Пивка — хлопнем?

— Нет.

— А че?

— Просто, с некоторых пор, ты мне несимпатичен.

— Да брось. Я ж не знал, что она твоя жена.

— Теперь — знаешь, — говорю я сердито и бросаю трубку.

Дзинь. Дзинь. Дзинь. Дзинь. Дзинь.

— Да? Мать вашу.

— Петюх. Ты че трубки бросаешь? Давай мириться.

— Нет. Ты спал с моей женой.

— Откуда ты знаешь?

— Угадал, — говорю я и кашляю.

— Ты простыл, что ли?

— Ага. Последняя стадия бронхита.

— Ну, блядь. Слушай: по-моему, ни хуя ты не Петя. Я просто номером в первый раз ошибся. А во второй — специально ошибочный набрал.

— Ты прав, Жером. Я просто одинокий, больной и пьяный. И мне нечего делать. А тут — звонок. Ты б тоже подыграл на моем месте?

— Наверно... но ты так более не делай. Никогда. Вот, блядь, — говорит трубка и часто-часто гудит.

Я тушу сигарету. Смотрю в окно. Появляется второй симптом воспаления в легких — боль в груди. Или это мне так за что-то обидно? И грудь болит, играя в душу. Смотрю в окно. Там — пустой октябрьский воздух, негреющее солнце и шум машин. Звонит телефон. Дз-дзинь. Дзинь. Дзинь. Дзинь. Дзинь. Я закуриваю. Дзинь. Дзинь. Беру трубку.

— Привет.

— Жером? Привет. Это я, Петька.

— Аааа. Петрович. Как же, как же.

— Жер, пошли пиво пить! Я угощаю.

— А то, что я спал с твоей женой, не помешает нам?

— Почему? Нет, конечно. Будет что обсудить.

Я ведь тоже с ней спал, знаешь ли.

— И еще я однажды выеб Настасью Никитишну.

— Да ладно! Ей же лет сто, не меньше.

«Лажанулся», — думаю я.

— Подожди. А ты, вроде, не Жером. Ты просто прикалываешься. Точно. А голос — похож.

— Да, я не Жером. Ты как понял?

— А когда ты про Никитишну загнул. Ты б ее видел, чувак. Тогда бы не болтал ерунды.

— Пока.

— Ага, бывай. — Трубка повесилась. (На том конце провода).

«Интересно, вот совпадения! Оказывается, не только в романе Пастернака бывают такие случайности», — думаю я. Кашель усиливается. Я сплевываю на пол. Мокроту. Мимо окна летит голубь. Голубь срет на лету. Я вспоминаю, что есть еще водка — мы с доктором не всю выпили.

Иду на кухню. Водка — там. Еще грамм 200. Наливаю. Выпиваю. Закусываю лимоном. Звонок. (Много раз дзинь. Но не дао дэ).

— Да. Что за блядь на этот раз?

— Простите... Мне Петра надо. Скажите, жена звонит.

— Ладно, — отнимаю трубку ото рта и жду двадцать секунд, — Петр.

— Дорогой, это — я. Я тут закончила пораньше. Может, сходим куда?

— Пивка выпьем? — интересуюсь.

— Можно и пивка.

— Не пойдем, — отвечаю я трубке. Строгим-строгим тоном.

— Как так, блядь...

— А вот так. Ты, женушка, Жерому давала? Давала. Вот с ним и ходи. Пусть со своей французской галантностью наливает тебе. В тебя.

— А Жером же — аргентинец... минуточку... блядь! Блядь! Так и знала. Посмотрела на определитель — и поняла. Я ж, блядь, номером ошиблась! Простите.

— Да ничего.

— А вы — кто? Ежели вы все про меня знаете... Может, бог? Господь Бог?

— Вроде того. Я на него работаю. Ангелом, знаете, — достаю из пачки сигарету и закуриваю. Кашляю.

— А ангелы, что, тоже кашляют, — интересуется жена Пети.

— Еще как!

— А раз ты, чувак, ангел, может, знаешь как мне быть? У меня непростая жизненная ситуация.

— Я все знаю. Ноги — в руки, и к Жерому — трахаться.

— Он же работает щас.

— Ничего. Давай, раба, эта, божья, езжай.

— Лады. Вечерком позвоню, все расскажу.

— Я и так все знаю, — усмехаюсь. Конец разговора. Первым кладу трубку.

Приступ кашля. Минут на пять. Потом — снова наливаю, выпиваю, закусываю лимоном. И иду спать. Засыпаю на кровати. Снится сон. Большой, гигант-

— А я ебу? У меня даже градусника нету.

Неотложка тяжело вздохнула и опустила трубку на рычаг (наверное).

Я открываю холодильник, достаю лекарства. Высыпаю на ладонь таблеток пять какого-то тетрациклина, кодеина — три капсулы, и гексина (без брома, т. к. бром вреден) шесть капсул. Запиваю остатками водки. Ложусь на кровать. Слышу: «ДЗЫНННЬ!!». «Ах ты, еб», — думаю.

— Я.

— Головка от хуя. Ха-ха. Жером говорит. Мне Лайва сказала, что ты — ангел. Это так?

— Есть немного.

— Верю. Эта, хочу спросить: вы, ребята, вправду летаете?

— Ну, бывает, — говорю.

— Заебись. Я, вообще, звоню поблагодарить: Лайва сегодня ведь благодаря тебе приехала.

— Не стоит. Не за что. На все воля, сам догадайся кого, — говорю я и чувствую, что тот дятел из сна перебрался в явь, и снова меня долбит.

— Божья воля, ха-ха! Еще те звякну как-нибудь. Давай, чувак. То есть ангел.

— Угу. Пока. Мать твою.

Снова ложусь. Жду, чтобы подействовали лекарства. Безуспешно жду. Я весь горячий, а там, где долбит дятел, есть небольшой холодок. Такая струйка безжизненного холодка. Моя смерть. Очень плохо. Звоню знакомому, медбратау. Говорит, звони в неотложку. Набираю номер.

— На небе, где еще.

— Извини, глупый вопрос задала, еду.

«Лайва едет. Хорошо», — думаю я. Жду Лайву. Жду и плачу. Я плачу и смеюсь, я теплый и в груди моей дятел живет! Дятел-дятленочек!!!! Вдруг ощущаю, что и голова болит. Наверное из-за того, что я ей бился. «Клин — клином», — думаю, и бьюсь об стену еще минут двадцать. Потом слышу — звонок. В дверь! Я подползаю к двери (идти уже нет сил), хватаюсь за ручку, приподнимаюсь, открываю с криком «Лайва!..» Но — хуй там. Там два человека в белом. Они берут меня, кладут на носилки и несут, несут. Я закрываю глаза и долго их не открываю. Потом открываю. Открываю, чтобы закрыть уже навсегда. Я умираю.

Потом он решил, что он поэт. Он слагал гармонию, и слова искрились. Каждое слово было как отдельная песня. И слово равнялось произведению, а произведение — слову. Он выходил на улицу и чувствовал ее аромат, он всюду понимал погоду. Иногда он видел странных крылатых существ и говорил с ними на их языке, а они удивленно отвечали. Люди не понимали его, но любили.

Затем он стал художником и рисовал картины. Маленькими мазками масла он переносил то, что можно и что нельзя видеть, на полотна. Он ставил мольберт и быстро заполнял его пространство таким образом, что изначальный цвет полотна соответствовал тому, что получалось в итоге. Его посещали видения, но их было мало. И вдохновения он искал там, где надо было просто есть или просто идти.

Еще он был музыкантом. Он овладел премудростью скрипки. Из воздуха, из тех его частей, что выше, он брал внутреннюю музыку космоса и излагал простыми скрипичными пассажами. Его слушали, ему поклонялись, ему дарили цветы. Он играл на больших концертных площадках, и все ему радова-

лись, а потом возвращались в свои дома, не забывая похлопать его по плечу, возвращались с сознанием выполненного долга. И он был один, и опять думал о воздухе и вновь чувствовал космос.

Вскоре он стал с девушкой. Он отделил ее от других девушек, присвоив себе и ей некий третий пол и забавные прозвища. И все, что он звал любовью, то стало девушкой, а все, что он не звал девушкой, стало неинтересно. И когда он кончал в нее (а не в нее он не кончал), то мир вспыхивал, словно говоря ему: «вот оно, ты нашел!», а когда она кончала в его объятиях и потом прижималась (все еще часто дыша) к его плечу, то он испытывал столько нежности, что казалось, он умрет от этого чувства. Что умрет от нее. Но смерть не была важна. Смерть вдруг отменили. То, что подвигало все его творения — сознание невозможной, но близкой смерти, исчезло, потому что исчезла сама смерть. И он думал о себе и девушке, как о детях на берегу моря, родители которых уплыли в сторону заходящего (и непременно непобедимого) солнца. И это был один ребенок, больше не стало «они», стало лишь «я», или, но редко, «мы». А девушки не вечны (хотя люди бессмертны). И девушка стерлась. И тогда он понял, что ему все равно. Он не знал ничего абсолютно, а то, что раньше он почитал абсолютным, теперь стало общим местом (и кто-то там сидел). Он жил как живет, руководствуясь лишь своим этическим кодексом и иногда читая о старых временах. Ему было так все равно, что он даже бросил пить.

И вот он пришел к Вере. И жил в Вере. И был благ (ибо в Вере все благи, не благ лишь тот, кто вне Веры). Он осенял свой путь знамением и разрушил свой этический кодекс, потому что ему дали другой (новенький). И в Вере он находился таким образом, как и все находятся в Вере — вместе и с очень веселыми плясками.

Вдруг он решил, что спит. Во сне он видел Эранвеж. Неопишуемое совершенство любого мира и любой реальности. Он испытал во сне покой, такой силы, что было немного больно. Отовсюду дышала ветхая, незнакомая, но родная вечность. Цвели райские яблони (потому как рай). У него заново открывались все органы, вся их музыкальная суть, органы выглядели как части божества. Он падал, падал в безграничную свободу и радость, озирая чудную страну Эранвеж. Там жили вечно и каждые сорок лет рождались дети, и дети тоже жили вечно (почти как те, кто их родил). Там было все, как обещано, и все было обещано снова. Не о чем просить, и нет просьбы в виде ритуала. Но это сон, и он проснулся.

И поняв, что проснулся, он испытал боль, равную тому ощущению покоя во сне. Он сел на кровать и стриг волосы. Волосы кончились, а он все стриг. Все тело болело, как после долгого перехода. А души он не ощущал вовсе (а раньше что-то такое ощущал). Он сварил два яйца вкрутую и кофе, и сделал себе пять бутербродов с плавленым сыром (все в то же утро). Потом он закурил, еще подумал

о чем-то (что к делу не относится) и пошел на свою работу. И работал он там еще сорок лет, отдыхая дважды в неделю и еще один месяц в году на море, непременно на море. Поизносился за эти сорок лет. И однажды его не пустили на работу. И последнее — это то, что он сидел на скамеечке перед многоквартирным домом (где был и его уголок) и смотрел на ворон (на солнце не смотрел, на солнце — больно), пока не умер от внутреннего мочеиспускания. Если бы я был другим, я бы непременно спросил: «светило ли в этот день (когда он умер) солнце?». Но я не другой, и пока молчу.

С нулым вечером, когда мною никто не интересовался, я открыл в себе одно замечательное свойство и после этого замолчал. Люди шли по улицам нестройной шумною гурьбой, они были так похожи, словно близнецы. Один из них был очень высок и периодически озирался, как будто ошибся местом своего пребывания. Над всеми ними было замечательное небо, с красивым синим свечением, но небом никто не интересовался. Я смотрел в окно, вернее, я глядел в оконный проем. Совершенно не сознавая происходящего за ним. Я был полностью увлечен собой и своим новым свойством. Собой я увлекался давно, и даже, кроме себя самого, меня никто по-настоящему и не интересовал. За окном люди все шли, и очередной высокий человек искал что-то исключительно для себя важное. Однако кругом пустошь. И вороны черные своей нарочитой безысходностью пугают сознание глядящего на них. Небо все светлое и спокойное, и людей уже нет под ним, если посмотреть, потому как люди кончились совсем. Были, да вышли. Лишь сумрачные, спящие на лету вороны, и пески, прибавленные здесь исключительно за свой желтый цвет. Так гармонирующий с голубым

свечением неба. Я огляделся по сторонам. Комната была пуста, исчезло все, кроме нескольких книг. Это были Библии, все на разных языках. Библии меня смутили.

Мое новое свойство давало знать о себе все больше. Я переставал замечать различные вещи. Как живые, так и не очень. Моя девушка, сильно любя меня, пропала, а ее мать, несомненно старуха и вредная, кружилась по моей квартире, изредка что-то напевая. Все пропадало, пропадало настолько, что как будто этого и не было. Тот день прошел, и начались дни иные. В короткие сроки я расстался тем, что знал и любил, и с тем, что не любил, и с тем, чего вовсе не знал. Я ходил по городу. Я заходил в дома и смотрел на людей. Люди тоже смотрели на меня и даже, кажется, пытались говорить со мной. Но я молчал. Город стал другим. Пришла вечная тихая осень, приправленная ветром. Я стал ощущать запахи, чего не было давно. Запахи приятные. При этом курить я не бросил, курил много, с удовольствием.

Из библий в моей спальне я сложил карточный домик. И часто гадал, упадет он от следующего порыва ветра (а ветер усиливался) или нет. Домик не падал, потому что священный в своем роде. Иногда бывали солнечные затмения. Но лунных не было, этого я жалел.

Довольно скоро город прекратил меняться и стал таким, каким и был до каких-то пор. Раньше я стремился уехать отсюда, уехать в глушь, в жизнь. В свобо-

ду. На север, теперь север приехал ко мне и вольготно расположился окрест. Осень не проходила. Годы сменяли годы (или как там бывает у них со временем), я иногда плакал, но редко, плакать я любил. Жить было так хорошо, что казалось, можно сломать жизнь эту двумя пальцами, но пальцы я использовал для других целей. А именно пальцами я набивал мою трубочку, пробовал, не плотно ли набита. Солнце в один момент совсем скукожилось, и затмение стало повсеместным. Что, несомненно, смутило бы людей, если бы я думал о них.

Происходило все именно так (хотя, возможно, происходило иначе). Одним утром, с ночи еще усталым, я вышел погулять и вдруг умер, неожиданно и легко, без боли, страха и удивления. Умер и все. Умер, так и не поняв, что же за свойство открыл я в себе тем памятным вечером. Так и не осознав, что так изменило мир. Мое свойство и сейчас при мне, мне тихо и довольно свежо, но свежесть вредна, гулять мне запрещают (вроде как третьего дня запретили), все идет радостно-печально, вороны, что-то происходит третьего дня. Потом происходит второго. Что-то вообще происходит. Но гулять я совсем не хожу. Что это за свойство, я так и не спросил.

Если Христос — не Бог, то мы не спасены!

Афанасий

Маги шли осторожно, боясь повредить землю. Друг за другом. Гаспар, Балтасар, Мелкон. Маги шли ночью. Их звезда беспокойно мерцала. Гаспар шел впереди, он думал. У Мелкона сильно болели ноги, но он знал, что уже близко. Мелкон слышал, как Балтасар тихо читает Аша-Вахишта. Запах незнакомой земли был Мелкону неприятен, он морщился. Они шли уже много ночей. Огни их старой родины ждали их. Ждали с доброй вестью. Он обещал, и так будет. Он обещал нового пророка, Он обещал спасение и звезду. Звезда вела их к пророку и спасению в нем. Гаспар больше не думал, только дышал. Станный вкус проявился у воздуха. Вкус чуда. Они пошли быстрее. Звезда бесстрастно мерцала. Из темноты возникла пещера. Они вошли в нее. Мелкон увидел молодую женщину с некрасивым лицом. Она родила. Еще были мужчина и старуха. Молодая женщина улыбнулась и спросила:

- Вы пришли посмотреть на Него?
- Да, — сказал Гаспар.

— Вы принесли дары?

Гаспар кивнул. Старуха показала младенца. Он спал. Балтасар достал из сумок все, что они принесли Ему. Золото. Шелк. Одежды. Посох. Они скинули на пол пещеры поклажу, упали на колени. Стоя на коленях, они следили за младенцем. Младенец спал. Вдруг вкус чуда исчез. Младенец открыл глаза и весьма благостно оглядел магов. Гаспар протянул руку и коснулся младенца. Но тут же в ужасе отдернул. Он был испуган. Мелкон почувствовал, что что-то не так. Балтасар все еще читал молитву. Но они встали с колен.

— Вот Сын мой, — сказала женщина.

— Мы видим, — сказал Гаспар.

— Он рожден для жизни вечной и спасения этого мира, — женщина скорее спрашивала.

— Возможно, — сказал Гаспар, — прощайте.

Он вышел из пещеры. За ним Балтасар. Мелкон пошел к выходу, обернулся: люди смотрели на него недоуменно, младенец спал. Принесенное золото не блестело. Мелкон вышел.

В пещере вместо обещанного Зороастром третьего пророка они встретили маленького бога, чужого и холодного. Холод, вот что испугало Гаспара. Этот бог не спасет их. Он не для них, они ошиблись. Звезда погасла, пока они шли домой. Гаспар, Балтасар, Мелкон. У Мелкона болели ноги, он чувствовал себя слишком старым, даже древним. В молчании они шли ночью, пока не пришли к своим огням.

Помнится.

Черные плоские капли дождя падали на еще не остывшую от создания землю. Сильно болела голова. Тяжело оживать. Митра, верхом на быке, нарисовался рядом. Как оно, спросил Митра. Херовато, честно сказал я. Вот что — Митра огорчился. Что плохо на сей раз? Да солнце. Оно зеленое, раздражает. Это с непривычки. Ааа. Голова продолжала болеть. Я поинтересовался у Митры, нет ли чего от головной боли. Это еще не скоро изобретут, Кадмончик, ответственвал Создатель. Ладно, если понадобится, я там. И Митра показал на солнце. Удалился. Я присел на землю, вознамерясь закурить. Но сигареты в гроб мне не клали, так что не довелось.

Почему же выбрали меня, думал я. Из всех, кто существовал в прошлой попытке. Притом я имел всего одну инкарнацию, а, скажем, Лао-цзы — 19. Но старина Лао, с которым мы часто пили сому в Гадесе (место такое гадкое), в новый мир пока призван не был. Что я сделал такого, чтобы стать избранным? Ничего. Я вспоминать стал, как жил. Обычно же. Главное мое отличие от соплеменников заключалось в ношении ярко-желтой рубашки

и... и все. Я пытался, конечно, возвыситься над серостью, стать особым каким. Книжки читал умные (немножко), медитировал два раза. Ну там, в позе лотоса сидел, думал, что я, скажем, бык. Думал, думал, надоело. В моей комнате всегда пахло пылью. Но ведь не за это я был выбран. А! Еще меня отличала большая доля мизантропии. Впрочем, все умные люди мизантропы. И вот я, мизантроп, тунеядец, обыватель (не хочется, но есть) — новый Кадмон. Сижу тут в пустыне, чем заняться неясно. Скучно, блин. Бабу дали бы, что ли. Хотя нет. Все-таки менять собственную кость на новую любительницу яблок не стоит. Пока потерплю. Дождь достал. Слышь, Митр? Дождь достал. Молчит чего-то. Митра не отвечал мне, он скручивал голову очередному быку. Вообще, из мертвых воскресили меня, да 15000 быков Создатель для себя взял. Воскрешали меня вообще интересно. Сижу, пью со стариной Лао, тут приходят и говорят — топай к Начальству. К прорабу, что ли? Не, к Мудону (так мы Плутона кликали). Прихожу. Плутон говорит: бог устал. Как караул? Не, как бог. Вот. Устал и того. Умер. Дааа? А какой бог? Главный, сказал Плутон. Который все идею добра там продвигал к ближнему и прочую ахинею. Он же бессмертен, возразил я на это. Есть такие штуки, что бессмертных берут, ответственвал Плутон. Это че, новый ТТ? Нет, СПИД. А что, наш Всеблагой и прочая пидором оказался? — я был удивлен. Нет. Он гею одному... Гей — это так пидор называется, — прервал я. Заткнись, заорал тогда

Плутон, — времени мало! И слушай, блин. На твои же вопросы отвечаю. Так вот. Жил-был один гей (ну, пидор), американец. Но очень благочестивый. Свечки там в церкви ставил, старушек через дорогу переводил по пять раз на дню. Молился постоянно. Короче, Всеблагой на заметку его взял. И опекать решил. Так ведь пидорство — грех по Всеблагому, — изумился я. Это мужеложество грех, оно всем плохим римлянам, что львят христианами подкармливали, карму подпортило. А пидорство — это ничего. Разве? Нет, ну отправят за такие дела в чистилище месяца на два. Вот мудачье наверху сидит — обиделся я. За уныние — два года а сковородке тусовать, а пидорку в чистилище — пару лекций прочтут, — и вперед — к ангелам на дискотеку. Тут Плутон ударил меня. Сказал после удара: заткнись, говорил же, времени нету. И продолжил вещать. Короче, тот гей (ты достал своей политкорректностью, возопил я — и снова схлопотал по морде) захотел сойтись с другим. Вот. А другой — спидоносный. Ну, Всеблагой все это увидел, с небес на землю, все дела, это с Ним бывает, подошел к своему поклоннику и представился. Ну, тот не поверил сначала. А Всеблагой — что, те же фокусы показал, — спросил я. Конечно. Вино там в воду (пьянство — грех), проститутку — в мамонта. Но пидор все равно не поверил. И развел Всеблагого на базар. Мол, тогда ты моего друга поимей вначале, вот и посмотрим, болен тот али нет. А че он, так сразу и рассказал про болезнь дружка пидору этому, —

вопросил я. Ну, — просто ответил Плутон. И че дальше-то? Плутон опустил глаза. И тихо сказал, что трахнул, мол, Всеблагой дружка. И что, кончил? Нет, умер. На богов, видать СПИД действует сильно слишком. И все вот. Классная байка, сказал я. Пока, Плутон. Ага, бывай. И вернулся я к Лао. Только разлили, опять прибегают. Иди к Плутону, зовет. Пошел, что делать. Прихожу. Бля, говорит Плутон вместо приветствия. Забыл, че звал тебя. Так вот. Помер Всеблагой... Это я уже слышал! — попытался я поучаствовать в разговоре. Получил по башке, естественно. Помер, значит... И, типа, нету главного. А тут Митра. Митра — воскликнул я радостно. *Deussolinvictus!* Митру все у нас любили и уважали. Солнечный друг детей подземного мира! Как часто он травил нам байки, подкидывал деньжат. А водку пил! Ну, понятно как кто. Как бог. Митра — раз — и прибрал всю власть к рукам (или что там у него), — продолжал Плутон. Как — тебе знать не обязательно. Вот... ну и расхреначил весь мир. Апокалипсис устроил им. Ура — обрадовался я. Да — я тоже порадовался, — сказал Плутон. Причем, с юмором обстроил. Все сделал, как Всеблагой предсказал. Гондона какого-то с числом зверя вырастил, плохого типа. Знамений наделал разных... А потом просто попросил Бодхи — бога-хранителя формы мира — глаза открыть. Тот и открыл. И все. Мир исчез. Стиль — сказал я. Ага. Так что теперь у нас рай будет, а в раю — ад. А у нас и так неплохо — сказал я. На хрена нам рай? Теперь ебаться запре-

тят, пить, да заставят как мудаков по саду обездревненному гулять целыми днями. Ну что ты, все останется по-старому, сказал Плутон. Только скорородки отменят. А геенну огненную? Трансформируют в вечный огонь в честь победы язычества над ересью всякой. Но тебя это ебать не должно. Почему? Понимаешь, Митра новый мир замутил тут. И ты там первым человеком будешь. Местным Адамом. Мы тут с Митрой кастинг проводили, смотрели личные дела. Ты подходишь. Ты ж самый последний умерший митраист. (Вот оно что, подумал я, сидящий в пустыне. Помнится, однажды на вопрос, кто я по исповеданью, я сказал: митраист. Вот чего меня выбрали!) Такие дела. Ща Митра придет, объяснит все тебе далее, молвил Плутон. И действительно. Вскоре появился Митра. Я пожал руку Плутону (он также выдал мне мою нетрудовую (конкретно для данной истории не определенную) книжку), попрощался с друзьями, с Лао обнялся, да и пошел за Митрой. По пути Митра сказал, что он, мол, тоже мизантроп, все дела, но мир хочет хороший, добрый сделать, и вообще. Я сказал, что для меня большая честь и проч. Потом Митра рассказал, что именно я могу есть-пить в новосозданном мире, что там хорошего имеется (как всегда ничего особенного), сказал, что пока я не попрошу, никаких других людей он туда заселять не намерен...

И вот. Сижу я под нелепо придуманным дождем. День сижу, день брожу. Два сижу — три местных насекомых ловлю и забавляюсь. Мир вышел по-

лучше, чем прошлый, но все равно халтура... В итоге, я бабу попросил предоставить. Ну, дали мне бабу (ее заново создали, из чего — спрашивать не стал, боясь отвратиться). Баба моя — Кибела, или Киба (по-домашнему), к сожалению, быстро научилась разговаривать, достала — жуть (все знают, как это бывает). Потом еще каких-то ребят Митра насоздавал, процесс ему понравился, что ли. Или Всеблагим себя случайно вообразил. Они смахивали на привычных по прошлой жизни негров, а Митра обиделся на обвинение в плагиате. И, как только людей вокруг стало больше семи, я понял, чего я их ненавижу так (и сяк). Их желание строить хижины, регламентированно спариваться, придумывать себе ежедневную однообразную работу и выполнять ее. Их разговоры ни о чем и неумение плюнуть в пустоту. То, как они стремятся быть похожими друг на друга. Их мастурбацию в закрытых помещениях и белые рубашки (о! Они еще появятся! Ах, воротнички...) — в открытых. И так далее. Возможно, я такой же (и точно не один такой), но это не мешает мне их ненавидеть (так же и подобных мне, хотя бы за подобие). И даже уважение, питаемое ими ко мне, и лесть я смог отринуть и не впасть (туда, куда вполне мог). Тут я был силен, один всего раз. Может, повезло. Собственно, Митра быстро понял свою ошибку. Да только Бодхи заснул опять, не разбудишь. Не поднимешь его веки, как нечисти разной.

В общем, Цивилизация. Понеслась.

...а Митра, видя мои страдания, да и не желая грустить в одиночку, забрал меня, своего неудавшегося Кадмона, к себе, в Солнце. Мы катаемся на быках, насылаем стихийные бедствия (их принято не любить среди людей), болезни, разрабатываем шестигранные капли для дождя. Но большую часть времени мы пьем. Сому — да. Но редко. В основном водку. А что еще делать? Внизу тоже пьют. Обыватели страдают. Не от вида других обывателей. А от невозможности стать Главным Обывателем. Трудно, да? Молитесь нам, да поусердней, приносите жертвы (правда, вы уже так развились, что режете на алтаре игрушечных быков), разбивайте лбы о пол покрытых золотом святилищ. Мы радостно вас не слышим.

Теряя чувственность луча,
В коробке белой я живу.
В моей игре — опять ничья.
Ничто не вечно наяву.
Ничто не вечно под луной,
Луна не вечна подо мной,
Меня кусал пчелиный рой,
Ментально. Свыкся я с игрой.
Когда из дома я бежал,
Меня кусал игривый лев.
Нескоро будет мой привал,
Но там возьму я пару дев.
Старых...

Он не закурил. Немного подождал и не закурил вновь. Чуть позже не закурил в третий раз, вышел из дома и стал добычей машины. При этом он закончился. Так.

Света играла в лесбиянку. Она ерзала на стуле и щипала свои соски. Она играла одна. Имея целью найти пару, она вышла на улицу. Случайно встретилась с машиной. Все. С той же, с которой встретился и он. Можно сказать, что они встретились друг с другом. Но тут же, не дав их отношениям из

случайных стать либидинозными, машина поприветствовала их своими колесами. Укусила их шипами. Погладила карданным валом. Надушила выхлопными газами. Машина сделала все, чтобы соединить двух незнакомых людей. Немного переборщила. Машина рассуждала. Травмы, реанимация. Общий экспириенс двух симпатичных молодых людей. Он закурил, она больше не лесбиянка. Больница, они навещают друг друга. Он нежно трогает ее гипс. Она ищет в его взгляде себя. И находит. Выписка. Мы еще встретимся? Только не так, как в этот раз. Ха-ха. Вечером? Сегодня. Да. Поедем к тебе. Да. Свадьба через полгода. Но машина не учла своей железности, опасности. И они лежат под ней.

Тут из машины. Я. Вышел, закурил. Вытащил этих остопездолов из-под колес. Положил на обочину. Воскресил, уехал.

Он: Побывать немного мертвым — странно.

Я рассуждать хочу пространно

Об этом старом бытие,

Более на сон похожем.

Я был случайным. Был прохожим.

Был мертвым — не похожим

На живых.

Света: Ты кто, твою мать, что делаю я здесь.

Он: Пожалуйста, в стихах.

Света: О! Кто ты? Мать твою.

Тебе я песенку спою: ла-ла. Ла-ла.

Ужель тебе я не дала?

Еще? Ты так красив.

Под сенью нив

Я непременно дам тебе.

Он: Где нивы я возьму зимой?

Замерзну со своей елдой...

Света: Пошли, короче. Надоело в грязи лежать.
Да и в рифму не все скажешь.

Он: А что не скажешь в рифму?

Она не ответила. Встала, отряхнулась и пошла, чуть пошатываясь. Он шел за ней. Она зашла в бар. Мгновенно продала свое тело. Он последовал ее примеру. Но, поняв, что продажа тела означает и его использование потным толстым дядей, выкупил, сославшись на то, что он не пидор-проститутка, а изучает общество в его маргинально-девиантных закоулках. Выкупив тело, он отправился за ней.

1

Боль. Сквозь сон. Мне открывают глаза, и я вижу. Я вижу белый цвет. Я воскрес? Через века смерти, после снов, снов с рыбами и снов без рыб, после беспомыслия, самонепомыслия. Я есть, кажется, я существую.

— Здравствуйте.

«Здравствуйте?» — кто? что? Голос, интонация. Я жив? Где я?

— Который сейчас день недели, — спрашиваю я. Как мне кажется, я спрашиваю беззвучно, я не слышу своего голоса.

— Недели больше нет. Есть инт и энт.

— А?

— Есть вход и выход из дня.

Все еще больно. Я не знаю, что спросить.

— Ты кто? Ты где?

— Я в тебе, в том, что сейчас ты, — говорит голос.

— А что сейчас я?

— А что ты обычно?

— Это ирония?

— Нет, это просто вопрос, на который во мне нет ответа.

— В тебе? Мне кажется, или я существую? Или это другой сон?

— На эти вопросы я не могу ответить. Кажется тебе, или ты существуешь, такого я не знаю. В каком-то смысле тебя нет, причем в другом, нежели нет кого-то, кто не ты.

Я пробую подняться.

— Ты не можешь встать, — говорит голос. — Ты пока не бесформен. Если тебе угодно, ты бестелесен. Пока ты ведь можешь помнить, можешь понять, что ты делаешь здесь.

Я могу. Я помню. Я немного об этом вроде знаю. Флин и его эоническая теория. Я согласился на возможность бессмертия, пожертвовав частью жизни (хотя может ли у жизни быть часть?).

— Сейчас мы попросаемся, — говорит голос. — Еще не решено, останешься ли ты здесь, или уйдешь в свои сны навсегда. Неизвестно, способен ли ты к миссии. Пока прослушай краткий курс того, что ты называешь историей, изложенный по возможности так, чтобы ты понял.

Голос исчез и боль ушла. Вместо света в моих вроде бы открытых глазах появился образ девушки, девушки юной и прекрасной (таким и должен быть образ).

— Я, — сказала девушка, — проведу тебя в нашу реальность, такую, как она на сейчас. Слушай. Это стандартный курс, потом ты сможешь задать вопросы. Я не существую, я специально смоделирована для тебя. Так тебе будет удобнее.

— Ты глюк? Как и голос, что я слышал прежде?

— Не совсем. Я, видимо, другая. Тебе вкололи («куда же без этого», — подумал я, вспоминая фантастические романы) квазиимунил.

— А почему будущее должно отличаться от фантастических романов? Было бы странно, если так. Потому, что будущее — это не придуманная реальность? А может, коллективно придуманная?

— Значит, мне не кололи имунил?

— Имунил? Тебе это важно? Может, что и не кололи. Вдруг он вкололся сам, как предвечное событие, воплотившееся на некотором шаге бытия со всей своей неизбежностью, — девушка сказала игриво.

— Неизбежность чарует, — ответил я самоуничижительно.

— Ха-ха. Ладно, молчи. Слушай, Ал: «Сейчас 19647 год твоей эры, от рождения того, которого назвали Иисусом. Мы называем это седьмой и последней эрой. Ты ушел из жизни в 2100 году. Ты был тринадцатым, кто пошел на эксперимент по входу в режим поддержания эонической жизни клеток. Будет полезнее, если ты будешь вспоминать про себя сам. Помнишь Флина?». Флин. Помню Флина (не помню Флина?). Никто никогда его не помнил.

Он был очень странным, он казался древним и всесильным. Он не был сверхчеловеком, скорее немного внечеловеком. Он говорил так же, как и все остальные, его занятия ничем не отличались от занятий большинства. Он жил обычной жизнью

человека успешного, и даже без намека на излишнее внимание к бытию и его прелестным разгадкам. Он читал те же книги, обычного объема и формы, смотрел «последние известия» по телевизору и был в курсе разного рода увлекательных перипетий от «новый друг известной певицы, их видели вместе» до «нобелевская премия за этот год уходит к». Экспериментальная психологическая физика, глобальная наука, которую он создал, наука, начавшая путь от теоретически редуцированных элементов материи к объяснению нашего восприятия комплексных событий, от объяснения и предсказания новых фактов к порождению практически любых фактов в индивидуальном сознании. Наука, указавшая на то, что не все сущности равны на онтологическом уровне. Но все его гениальные идеи были, что называется, «земными». Результаты его опытов довольно скоро стали казаться очевидными, его теории с легкостью вошли в учебники. Но он казался другим. Он был другим не сам (по своему желанию), но как-то отлично от себя. В нем было что-то, что не было гениальностью, что-то большее, чем божья искра. Что-то, что не ум, не Бог и не вещи. В нем была другая сторона. Все это чувствовали, хотя и не все могут чувствовать. Он был моим другом. По крайней мере, мы часто и увлеченно общались. Мы познакомились на одной научной конференции в августе 2025 года...

— Эй, — позвала девушка. — У нас мало времени. Ты должен вспомнить то, что относится к делу.

Второй раз колоть тебе квазиимунил («слово-то какое») — опасно, а знаний ты должен получить много.

— Я вспомнил. Я помню эксперименты Флина с атомными и псевдоатомными ядрами. Я помню открытие эона, новой частицы.

Эон. Так Флин назвал открытую им частицу атома, приветствуя (в лучших традициях пост-культуры) свое увлечение пессимистическим дуализмом манихеев и разного рода апокалиптическим гностицизмом. Хотя возможно, что эта частица и была эоном, вернее, частицы были эонами. Физически частица не существовала, но могла быть логически описана. Флин экспериментально доказал ее наличие, хотя сама частица в физической реальности отсутствует. Теория Флина была следующей. Эон — это частица, которая присутствует в ядре скрыто, до той поры, пока нечто не катализирует процесс ее физического явления. Когда она явлена (она уже меньше чем эон), она подавляет все остальные частицы, изменяя их таким образом, что они разлагают клетку. В жизни нигде логически не заключена возможность смерти — такова старая присказка. Моему обществу не была известна причина старения организмов, и также до конца не было ясно, почему люди наделили себя душой, и чем душа отличается от сознания. Флин заявил, что эон отвечает за бессмертие, что эон — это частная душа каждой клетки. Теория Флина объемна и сложна, но вкратце, Флин придумал, каким образом связать эоны, не давая им проявиться в клетках головного моз-

га человека до того момента, пока не будет решена проблема смертности (Флин верил в победу над смертью). Или до того момента, пока люди не научатся пробуждать ото сна ушедших из жизни (но не умерших). Погружение в этот етасон (ETAson) — это то, на что пошел я.

— А Флин выбрал обыкновенную смерть, — сказала девушка.

— Да? Почему?

— Никто не знает точно. Ты создашь собственное мнение на этот счет, возможно, это мнение поможет тебе в твоей миссии.

— Миссии? Что это?

— Слушай. За те века, что ты спал, мир стал другим («интересное наблюдение»). Вернее, люди стали другими. Они эволюционировали.

— Дарвин? Негегельянская диалектика? Нескончаемая эволюция...

— Дарвин? Это... ага... нет. Дарвин изложил принципы не той эволюции. То есть люди эволюционировали не согласно тем представлениям, что были в твое время, но совершенно иначе. Гегель ждал синтез — синтез есть. Естественный отбор больше не играет роли. Наступило ОНО. ОНО почти стало нами.

— ОНО?

— Да, но об этом не я должна тебе рассказать. Я лишь изложу историю, как ты привык ее слышать. Историю, где главное — победа, смена, движение. Где говорят о героях и политике, о изобре-

тениях и всем, что в рамки исторического процесса на самом деле не укладывается и даже не воздействует на него. Так оказалось. Ты пока не понимаешь, но история, как представление о череде великих, закончилась в 150-ом веке. Первое событие — это ядерная война. 2115 год...

— Через пятнадцать лет после моего ухода?

— Да. США были уничтожены. На всем американском континенте наступила ядерная зима. Забавно, — добавила девушка.

— Забавно?

— Ну, я могу забавляться, я же не робот.

— Нет? Но как ты можешь существовать, и что ты, если не человек?

— Ну, я некоторая сущность, но бытийствовать (произнося это слово, она улыбнулась) я могу лишь при условии существования программы. Я не знаю, как я есть вне программы, и как я есть вне наркотика. Может, я сам наркотик? Может, была бы моя воля (я другое место), я бы охотилась за твоим мозгом, чтобы съесть его и удовлетворить свою злостную сущность.

Вдруг она сменила позу, темп речи, улыбка исчезла:

— К делу. Войну начал Флин.

Он был уже очень стар, подумал я.

— Флин жил 220 лет, — ответила девушка.

— Но Флин — американец!

— Один американец был жуткий оборванец, во всей его душе, нет ничего вашше! — сказала девушка и хихикнула.

— Это откуда?

— Это — из тебя. Хочешь еще?

Но тут образ девушки как-то дернулся, исказился, взорвался изнутри белесым светом. Девушка стала двумерной.

— Мало времени, перехожу в режим мгновенной подачи информации, — устало (насколько могла) сказала девушка.

Программа взяла над ней верх, успел подумать я. Успел подумать до того, как в меня, с жуткой болью, с пугающей беззвучностью, полилась информация.

В меня шли образы, люди, события. В меня входила память о тех веках, которые я спал. Это было моральным изнасилованием. Я вмещал и вмещал информацию, вмещал и упорядочивал ее, не успевая даже сознавать. Это даже не было информацией, это было знание, которое я не мог не принять. Я стал очень слабым и весь сбился в уголок моего сознания (такое видение посетило меня), сморщился и устал. Я почему-то боялся выглянуть из своего укрытия (построенного какими-то защитными механизмами своего сознания) и посмотреть, что я теперь знаю. Потом я устал окончательно и вернулся в сон.

2

— Здравствуйте.

Это был тот же голос, что вызвал меня из етасна вначале.

— Откройте глаза, — призвал голос.

И я впервые за последние 160 (или сколько там) веков открыл глаза.

Ради этого, ради открывания глаз, стоит жить. Это было самым большим удовольствием, которое я испытал в своей жизни. В жизни — потому как я снова жил, дышал. Снова мог чесаться.

Я смотрел вверх в потолок и наслаждался своим телом. Я чувствовал. Я знал свою кровь. Это было невообразимо сладостно. Лежал я, наверное, очень долго. Затем голос раздался вновь:

— Хорошо, да? Я — Синх. Можете посмотреть на меня.

И я посмотрел на Синха. То есть, вначале я вообще ничего не увидел. Я знал, что меня окружают различные предметы. Я ощущал присутствие другого человеческого организма где-то рядом, я почти видел его. Но реально ничего не видел. Потом я увидел контуры. Пространство стало объемным. Появились цвета. Как будто кто-то навел резкость на мой взгляд.

— Ты никогда не видел того, что есть здесь. Ты этого не знаешь. Кое-что ты видел, когда программа вводила в тебя информацию. Но это не было реальным видением. Это, скорее, было визуализированным рассказом. Твоему мозгу надо запомнить предметы, он должен знать, что предмет есть, и тогда — ты увидишь его. При первом знакомстве с чем-то, не виденным ранее, мозг начинает активно работать — сопоставлять этот образ с другими,

искать сходство. Потом глаза сообщают мозгу новый образ... ну и так далее. Нормально ты увидишь комнату минуты через две.

Я озирался вокруг, как слепой зверь в клетке (я никогда не видел слепых зверей. Но такая уж аналогия посетила меня в этот момент).

— Попробуй на мгновение закрыть глаза, а потом снова открой, — посоветовал голос.

Я последовал совету. Когда я открыл глаза, я увидел нечто, что можно было бы назвать комнатой. Так я и назвал это. Она была небольшой, с мутными стенами, которые слегка колыхались, словно немного жили. Мебели не было, лишь кровать (тоже весьма странная) и куча ящиков с различными датчиками и кнопками.

— Итак, я Синх — я над тобой, — поведал голос.

Я поднял голову.

Метрах в двух, под потолком, находился мужчина. У него была мертвенно бледная кожа, черные, какие-то высохшие волосы, очень тонкие, но правильные (никогда не думал, что употреблю это слово для характеристики лица) черты лица. Серые глаза без зрачков. Его вид меня пугал. Мужчина просто висел в воздухе.

— Слушайте, — сказал он. — У вас есть часа три, потом их не будет (когда они истекут). Пока пообщаетесь со своим телом, воспоминаниями и новым знанием, которое вам дали. Если что будет нужно, спросите, вам ответят.

— Кто ответит? Что, собственно...

— То ответят, что спросите. Можете назвать это... ааа... компьютером. Я приду через два часа.

— А там ванная комната? И вообще, если я захочу есть?

— Хм, — он задумался. — Что есть ванная комната?.. Впрочем, не важно. Вы этого не захотите, — произнес он уверенным тоном и посмотрел на меня своими жуткими серыми глазами без зрачков.

Я действительно не хотел есть, но что-то в его тоне меня не устроило. Какое-то психологическое давление.

— А вот и хочу, — заявил я.

— А я говорю — не хотите, — продолжал Синх еще более странным тоном.

— Да пошел ты! Где вообще какие-нибудь власти? Кто-то должен меня встретить, так сказать, помочь интегрироваться в общество!

— Властей у нас нет. А в общество... об этом ты скоро узнаешь.

Он плавно опустился на пол и направился в сторону стены. Остановился, еще раз посмотрел на меня и вышел из комнаты сквозь стену.

— Эй, ты куда?! — я бросился за ним.

Добежав до стены, я увидел, что структура ее не однородная. Это было что-то вроде плотного тумана, который вибрировал. Я протянул руки и уперся в нечто твердое. Двери за туманом не было. Ее не было и рядом. Комната находилась в чем-то вроде облака, внутри плотного. Руки входили в облако по локоть, а дальше увязали. Я не мог пройти в сте-

ну, как Синх. Стена не была для меня дверью. Не то чтобы я не мог поверить, что тут может быть дверь, и потому не могу пройти, — никакой дешевой психологии. Просто я увязал в какой-то момент своего продвижения внутрь. Вытащив руки из стены-облака, услышал голос:

— Мур-мур, — сказала стена.

— Что?

— Это я не тебе, — ответила стена и отвернулась.

Теперь стены становились плотными на вид и ощупь, на них стал проявляться рисунок обоев.

— А ты кто? — спросил я.

— Это смотря к кому ты обращаешься, — ответила стена.

Я не хотел признаваться, к кому я обращаюсь, я был смущен:

— К стене, — сказал я неуверенно.

— А что, стены могут разговаривать? — спросил голос насмешливо. — У нас, конечно, будущее, но не до такой же степени.

— Будущее? Откуда мне знать? Может быть, меня разбудили в будущем, но недалеко (недалекое будущее почти не будущее), и теперь Флин и еще кто шутят. Вкололи какой-нибудь квазиимунил, а сами играют в стены.

— Это ты мне, — спросил голос холодно.

— Тебе.

— А я кто?

— Это ты мне скажи.

— Мур-мур, — сказала стена.

— Ты кошка?

— Нет, я — Мур-мур.

— Мур-мур из рода Мур-муров, или другой мур-мур?

— Юмор — это здорово, — возвестила стена.

— Слушай, стена — я не совсем понимаю, что здесь происходит. Меня разбудили, рассказали каких-то баек, теперь я в комнате, или в чем-то на нее похожем. Летают какие-то мужики. Потом я начинаю говорить со стеной, которая не хочет признать, что она — стена. Трачу уникальное время своей новой жизни на юмористические пикировки — кто кого перешутит — я стену или она меня.

— Просто мы не относимся серьезно к будущему, в отличие от тебя. Мы постоянно здесь живем и вполне привыкли. Поэтому нас забавляет то, что забавно, веселит то, что весело. Ты же, наверное, настроился на серьезную миссию, которую тебе поручат в целях спасения индивидуальной души.

— Слушай, стена, что я скажу тебе. Давай так: ты признаешь, что ты — стена, и объясняешь мне, что происходит со мной.

— А что, если я откажусь, — спросила стена.

— Тогда я буду с тобой драться, — ответил я и сжал правый кулак.

смерть где-то

1 ■ Однажды утром, когда пришел туман на землю, я проснулся от крика еще не рожденной птицы. Я подумал, что это мой последний день. В пещере, где я ночевал, было душно, я вышел на молиться на улицу. Сев на сырую, уставшую от ночи землю, я долго молился черному старому богу. Еще я хотел знать о себе и смерти, но не знал. Явилось солнце, мое последнее солнце. Вернувшись в пещеру, я что-то поел и перестал быть печальным. Хотя раньше печалился. Еще я умылся высыхающей росой. Потом шел, собрав свою сумку. И шел до полудня. Было жарко, и солнечные лучи забавлялись, играя с моими волосами, как малоразумные дети. Это я шел по лугу, потом был лес. В лесу еще пахло зимней сыростью, и старый хвойный ковер ласкал мои грубые пятки. День был целиком занят ходьбой. Я забыл об утренних страхах, их растопило солнце. Вечером вышел к озеру. Летали птицы ярко-красного цвета. Птицы падали в озеро, боясь своих отражений, тонули. Большие кувшинки улыбались своему старому знанию. Я купался, потом наслаждался своей чистотой. Потом что-то ел. Звенела тишина. Я был один в лесу, я вообще был один. Позже я опять молился. Вечер

по обычаю был темен. Ночлега я не устроил, день был последним.

Когда последний день застаёт в далеком лесу, никто не знает о твоём существовании и предсмертные крики красных птиц отовсюду, это понимается совершенно странно. Боязнь шорохов обуяла меня. Неизвестность, ранее манившая, пугала. Тепло и добро в собственном доме. Дома спокойно, я не там. Возможно, дома сейчас нет. Нельзя бояться. Надо встать и встретить возможных врагов, как герой. Героем можно не жить — героем надо умереть. Стоя на берегу потонувшего в вечере озера, я ждал. Забыть о реальности мешали лишь птичьи крики. Птицы тоже по-своему умирают. Лесные шорохи обрели систему, став чьим-то шагами. Потом к озеру кто-то вышел, встал невдалеке, невидимый. Он пришел мне отомстить. Не важно за что. Невидимый приблизился, стал ненадолго видимым. Я смотрел в его пустые древние глаза. Затем он убил меня, ударив в живот ножом. Я не отодвинулся, не вскрикнул, лишь попытался упасть на живот. Наверное, он ушел после.

2. Угрюмое утро, окрашенное туманом в белый. Проснулся от птичьего визга. Визг был не птичьим, но изданным птицей. Нет никого кроме птиц. Пришел день моей смерти. Огорчившись, испугавшись, я бежал, бросив все, по лугу, одинокой ланью — невиденным мной животным. Скрываясь от страха, медленного евшего мозг. Все бежал. Бежал по сырому, просыпавшемуся от зимы лесу, бежал к озеру.

У озера стоял, чуть дрожа. Дальше не убежать. Заикался и причитал. Скоро придет тот, кому прийти положено, и, сунув свой нож мне в живот, отомстит. Так или примерно так будет. Кровь шла из носу, заставляя себя глотать. Соленая, жидкая кровь труса. Моя сегодняшняя кровь. Было очень жалко себя. Немного сходил с ума, терся носом о землю, нюхал траву, нюхал сосны, что рядом. Запоминал.

Был вечер, кричали птицы, звенела тишина. Брат шел невдалеке мстить за свою, он считал, опозоренную сестру. Или нет. Звук его шагов отделялся от звуков леса. Звук шагов за спиной. Специально топает. Не оглядываюсь. Стиснул зубы. Его молчаливая усмешка, я полагаю. Уверенный точный удар между ребер. Мой хрип. На живот, пусть хоть труп выглядит достойно. Упал на живот. Он постоял, любясь невидимым в ранней ночи озером. Ушел.

3. Это утро, реальное или называемое таким утром. Плохие, тяжелые сны ночи. Проснулся от странного звука. Пугающий горный луг впереди, пещера, где спал, лес ниже. Спускаться в лес. В лесу безопасно. Испуганный ребенок в погоне за самим собой, я уехал в горы из пыльного города. Шел по горам, все больше боясь. Боясь и себя, и гор. Не знаю, чего больше. Пятый день вдали от так называемой цивилизации. Я так и не дошел до верху. Плохие сны ночами, все понимают. Каждый день боялся все сильнее, все больше. Страх материалов, как и слова. Страх разродится тем, кто убьет меня.

Убьет вечером, пытаюсь, как и я, найти себя. Побег не вышел. Я оказался менее сильным, чем предполагал. Я, видимо, рассчитан на торговлю овощами в ларьке и услужливые улыбки. Кризис неполноценности.

Не поев, испугавшись вкуса пищи, бежал весь день, падая. Позже скинул рюкзак. Падал, нюхал влажную землю. Молился, не зная кому. Потом лес, вечер, гладь озера. Последнее омовение. Страшная ночь со своими шорохами и обитатели леса, живые, не как я. Боязнь и желание звуков. Желая слышать крики чаек на курорте, а не тишину. Готов видеть сейчас людей. Готов целовать продавцов овощей. Потом не готов. Вечер, вечер, ночь. Складной ножик в нескладной маленькой руке. Шорохи, шорохи. Шорохи могут обратиться в нечто большее. Если не во встречу с собой, то во встречу с Ним. Он, что все видит, не подойдет в толпе. И хочу и не хочу его спросить. Но больше боюсь спросить себя. Плотно сжатая ручка ножа с плохой сталью. Ножа, имеющего цену, и как все, имеющее цену, несуразно плохого. Скоро ночь. На колени, шорохи-шорохи. Взмах рукой, слабый надрез живота, майка в крови, боль. Снять быстрее майку, снимаю, еще удар, сильнее, теперь вниз, ниже. Стараясь сильно не хрипеть и придерживая выпадающие внутренние органы, падаю на живот. Где же Он? Он вытирает нож и вроде уходит.

айн (айны)

Если бы у каждого была бы космогония, то государств бы не состояло. Вдруг бы каждый стал честен с собою, и сладкия иллюзии пропали вовсе. Когда все будут стоять вольно, то покой будет не только сниться. Мы должны улучшить мелиорацию. Мы необходимы в расчете пути вавилонских светил. Нас ждут на испытаниях по первому самостоятельному полету человекoв. Но мы нейдeм, не внемлем, мы замкнуто глубинны. Мы в удушье, в мертвом. Что мы? Продаем себя и получаем взамен новые модели, прекрасные юниты, чудные блоки нас усовершенствованных, нас модифицированных, нас улучшенных. Генная инженерия идет к тому, чтобы нас всех предсказать. Мне тут рассказали по этому поводу старинную айнскую легенду, которую я и ведаю сам, чего и вам желаю.

Ходил остяк по воду. Воды напиться хотел. Идет, смотрит — лужица — и впрямь вода течет. Он ее хватать! А она ему — штрям! Так и ушел остяк, воды не пивши. Дальше идет. Глядь — ручей, ручейка, вода и впрямь течет. Он ее — хватать. А она ему нет. Загрустил остяк. Делать ничего, идет. Видит — река разлилась широко. Он ее — хватать. Но не тут-то было. Уклонилась река, да дальше потекла. Совсем

загрустил остяк. Смурной стал. Сел он у реки и давай сидеть. Сидел, сидел, так и не напился. Умер остяк, извела его жажда, замучила нерусская. Говорят (старики говорят), где-то есть море, которое ты — хватъ, и оно тебя хватъ — пей — не хочу. Так старики говорят.

Дабы из всех сделать один строй, мы космогонию отменяем. Потом надо рассчитаться на первый-второй. Еще бывают третьи, но это духи. Духов ловят и бьют. Коли всех посадить в клетку, то толка мало будет, лучше посадить клетку каждого. Растет себе человек, и клетка вместе с ним, тут, в груди, у сального сердца, все сильнее сжимая человека, уподобляясь тем корсету. Вот наплодить универсум и каждый станет маленьким универсенком, забавным, праздным и по праздникам пьяным. Можно из людей делать гвозди, но правильнее будет — стекловату. Стекловата — она как товарищ Проханов — ни рыба, ни мясо. Или как товарищ Троцкий — ни мира, ни войны. Вообще сложный предлог «ни... ни» хорош при описании нашего цивилизационного общества. Про общество есть у айнов предание сколь стародавнее, столь и лапидарное, как будто время само отсекло все лишние слова.

Айны. Один айн. Два айна. Три айны. Четыре айне. Пять айнов. Шесть айней. Семь айны.

Да, предание это не богато на детали, зато его можно выучить наизусть и даже рассказать друзьям.

Я верю в колесо. Я готов признать ту веру в колесо, что колесо крутится. Это вера активная, и потому она слабая, и потому это вера тоталитарная. Хотя вера может быть всеобъемлющей, идущей не от единоначалие-общность, а от каждая общность — одно начало. Для такой веры есть специальные слова, но мы их опустим (и опущенные слова, не придя в себя, скончались). Я могу признать сейчас активную веру, принятие вещей такими, какие они есть, согласен сейчас на цветочность цветка и пчелиность пчелы, только потому, что я почти сдался. Любой выбор — это принятие правил игры. Налево поедешь, направо поедешь. Посему кризис веры — это путь к свободе, но еще раньше — путь к страху и безумию. И поскольку страх и безумие приходят раньше, чем свобода (абсолютная. Иной не держим), то и доказать существование свободы мы не можем. Ясно, что у айнов, племени, которое напугали древние японцы (и выгнали тем в Россию) есть сказка (и на этот раз).

Вез мужик девушку юную, свежую. Сосны скрывали свою листву иглами, зима, снег, ветер, дождь. К морю вез, вез-вез. Вез-привез. Выходите-де, говорит, девушка любезная, чудо светлоокое. Дай посмотрю хоть на тебя, красавицу писаную, девицу непорочную. Лицо твое ясное (лик), да глаза зеленые. Губы коралловые, груди молоком налитые, кожа шелковистая, волосы черные, нос как полумесяц, глаза как звезды, и проч. Смотрел на нее, смотрел. А, думает. Все равно утоплю. Поднял мужик девуш-

ку на плечо, да и кинул в море. Вспенилось синее море. Сел мужик на санки и обратно поехал. Девушка, мол, одно, а море другое. Все жертва. Ублажил богов, значит, зима будет короткая. Надо и сани починить. Думал так мужик, думал. Ничего не надумал, приехал в селение, вошел в свою юрту, уснул как убитый. И снится ему. А потом вошли — он и впрямь убитый. Убил его кто-то. Так-то вот!

Древние айны, ничего лучше не задумав, дали жизнь айнам современным. И лишь синее море все пенится, помня все жертвы и час последнего прости.

0

Старая жизнь. Чужая страна. Небо в пятнах. Холодный воздух — сначала в горле, потом в бронхах, в легких, и выходит через нос, утепленный, пригретый, сдобренный человеком. Лужи отражают облако. Или думают, что отражают. Облако — одно, но большое и пушистое. Я мог бы достать до него рукой, но мне всегда лень. Я стою и смотрю на него. Больше смотреть не на что. А оно — одно и то же, но всегда разное. Есть и нет. Там и здесь одновременно. Кроме того, когда я на него смотрю, я всегда себя теряю. Это довольно диковатое ощущение, но приятное, как будто смотришь на землю с какой-нибудь скалы. Я могу взглянуть на себя со стороны. Вернее, из-за спины слева. То есть я реальный понимаю, что я гляжу на себя же, и могу глядеть, но в то время, пока я гляжу, первичен тот я, на которого я смотрю, и он может прекратить этот аттракцион в любой момент. И он (я) прекращает. При этом он отрезает другого от существования. Я становлюсь единичен, и вот тут-то появляется то гадкое страшное чувство, которое все испытывали, но которое никто пока не описал. Это тяжесть бытия,

давление воздуха, бунт капилляров против кровеносной системы и системы вообще. Это страх смерти, боязнь следующего шага, чувство пустоты... Ну и прочая муть, которой набиты книги философов и других бездельников. В общем, это ощущение давит и ведет к депрессии, к панике, к курению двух сигарет подряд. Но самое интересное, что когда тот, на которого смотрят, убивает (фактически) того, кто смотрит, последний еще какое-то время существует, хотя бы в восприятии первого. То есть тот, кого нет, кто является продуктом неосознанного воображения, живет недолго собственной жизнью, неконтролируемой его создателем. Он становится реальным, так как если что-то отсутствующее уничтожается, то есть делается опять-таки отсутствующим, значит, он становится сущим, ведь минус на минус — плюс, а отсутствие отсутствия есть присутствие. Хотя с последним доводом я не совсем согласен. Итак, эта тень, этот двойник, как хотите, некоторое, пусть недолгое, время — так же реальна, как я. Всегда оглядываюсь, чтобы удостовериться, что убил своего наблюдателя. И лишь тогда страх отступает, все вокруг не раздражает жестко и не давит черепная коробка на мозг. Но я всегда боюсь, что он останется. Что мое невинное хобби — смотреть на себя сбоку — окажется фатальным. Нет, я не боюсь, что мой двойник будет где-то ходить и пользоваться моей внешностью (иначе я бы писал детективы), тем паче, обладание моей внешностью принесет более вреда, чем пользы. Я боюсь, что однажды

я не пойму — кто я. Тот, кто был рожден женщиной и играл в детстве с пылью под кроватью, или тот, кто наблюдает меня со стороны. Вдруг я не разберусь и так никогда и не найду себя, и не буду ощущать свои руки родными и знакомыми, и ласково гладить свои подошвы перед сном, как детей. Я буду смотреть на мир глазами фантома, и ничего, совсем ничего не знать. И будет больно внутри, и не будет снов, и вены станут серыми. Я знаю, это случится, рано или поздно, если я не прекращу. И мне действительно ужасно, чертовски страшно. Но дело не во мне. И история эта — не наша тема. Все дело в том, что я хочу, чтобы читая нижеследующее, вы чувствовали эту беспомощность, страх, непонятность. Именно это неописуемое ощущение вы должны сейчас у себя вызвать. Посмотрите на себя со стороны. Постарайтесь.

1

Вернемся к старой жизни. К моей, естественно. Думаю, даже дети знают, что жизнь бывает старая и молодая. Причем старая — раньше молодой, из-за того, что мы говорим лишь о прошедшем, находясь, как нам кажется, в настоящем. Прошедшее является старым относительно молодого настоящего. По поводу же будущего, следует сказать, оно не существует. Будущее — это додуманное нами прошедшее. Ладно. Шла моя старая жизнь. Обычная,

в общем-то, жизнь. Интересно то, что я ее помню. И ее, и переход, и рождение. Содержание старой жизни было таково.

Я родился в возрасте пяти лет в маленьком уральском местечке, на границе Свердловской области, Пермской (такого же территориального и федерального значения) и республики Коми. Это было именно место, а не город или поселок. Раскиданное на сорока четырех квадратных километрах поселение из 53 — 67 домов. Посередине этого воображаемого квадрата располагалась гора Черный Камень. Речка тоже была. Безымянная. Место называлось Полуночное и состояло из четырех отдельно взятых вроде как сел, но на самом деле это были лишь произвольные скопления черных и желтых избышек, объединенных только необходимостью наличия административного управления и нанесения надписей на картах. Эти районы звались: Чернокаменный, Старый Уп, Алдавень и Не. Я был из Не. Там жили дети сумасшедших, опущенных из Центрального Сумасшедшего Дома города Карпинска. Их было слишком накладно содержать. К моему рождению все сумасшедшие уже перемерли. В Чернокаменном, который, понятно, был ближе всех к горе, к вершине, жили верхолазы. Дело в том, что Черный Камень — горку нашу — никто не мог одолеть. Ни один альпинист-скалолаз. Они там и жили, на подступах к скалистым отрогам, изыскивая все новые способы покорения, потихоньку спивались, женились на местных, умирали

и завещали деткам, ежели они получались мужскими, залезать на горку, ежели женскими — не пиздеть. Но плохие гены мешали и детям. На Черный Камень, так уж сложилось, могли забираться лишь местные, остальные так или иначе погибали на пути к вершине. Хитрые там очень места. В Упе жили представители какой-то старой уральской народности настолько древней, что они и не помнили, как называются. «Люди мы, люди», — говорили на все вопросы. Говорят, они спустились с гор всего лишь лет триста назад и тут же перетрахали всех баб, живших в Упе. Мужчин их поубивали. И прикинулись упцами. Да так удачно, что никто и отличить не смог. В последнем же селении — в Алдавене — никто не жил. Но считалось, что там живет несколько призраков и эти призраки — не чьи-то умершие души, а фантазии неродившихся в Алдавене некогда детей. Призраков боялись и взрослые, и собаки. И детей, конечно, пугали «алдавеньскими ведьмами». Когда мне было шесть (и шел соответственно, второй год), я впервые попал в окрестности Алдавеня. Мы ехали в повозке на север — менять выращенные помидоры на холщовые рубашки и кровь орла — с ее помощью мать хотела приворожить мне самую красивую девочку деревни, пока никто нас не опередил. Поскольку умением выращивать помидоры отличались во всем Полуночном лишь мы с матерью, за качество крови волноваться не приходилось — нас ждала лучшая. И я увидел Алдавеньские дома тогда. Они выгорели изнутри,

а снаружи были как новые. Стая волков бежала за чем-то похожим на человека — но прозрачного и очень худого. «Призрак», — сказала мать. А наш повозчик глотнул самогону из небольшой бутылочки и грязно выругался. Примерно так: «Да ебал я его... Сука, бля, даже выебать некуда, ишь, разгулялись, бесцветики...» Призрак меж тем позволил волкам догнать себя и хохотал, глядя, как они пытаются укусить его за отсутствующую плоть. Потом он увидел нас и исчез. Да. Алдавеньские холмы тогда еще запомнились хорошо. Они слегка отдавали красной глиной — много глины. И никакой пошлой травы. Хорошее место Алдавень. Я уже тогда так думал. Так. Лет до десяти я жил спокойно и без забот — пил молочный самогон и помогал матери выращивать помидоры. По праздникам — целовал в губы девочку, за приворотным средством для которой мы ездили мимо алдавеньских холмов. Еще я заглядывал ей под рубашку, проверяя, хорошо ли растет грудь. Еще я ходил в гости в Чернокаменный, и верхолазы, те, что приехали не только что, но и не особо давно, кормили меня конфетами, пытаясь выяснить, как мы ходим на Черный Камень. Как-как? Ножками. Топ-топ. Ну не любит гора идиотов, что тут поделаешь? А в том, что все, кроме полуночников — идиоты, сомнению не подвергалось. И это был не какой-то там эгоцентризм, нет, просто все, кто мог у нас жить, становились нами и соглашались, а те, кто не мог — либо помирали, либо всю жизнь боялись своего отражения. Мы — по-

луночники — действительно особые ребята. Ну да ладно, хватит хвастаться, тем более, не бывший у нас — нас не разумеет, как голодный — сытого, а имбецил — олигофрена. Когда мне исполнилось десять, пришла пора первого ритуала. Посвящения. Я мог войти в Братство Черного Камня или оказаться НЕ полуночником — тогда меня бы отвезли бы за территорию зоны, и я бы все жизнь стал жить как обычный такой мальчик. Ритуал проходил так: меня отвезли в Алдавень, завели в один из домов и закрыли дверь. Там я должен был провести столько времени, сколько понадобится какому-нибудь призраку, чтобы найти меня. Призрак меня, по идее, увидит и отведет на Черный Камень, если ему будет не особо лень. С горы, на обратном пути, я должен захватить кусочек черного камня — мой будущий амулет. Если призрак не приходил, то человек умирал: от голода, от жажды или просто так. Надо сказать, что в Священный Камень верили все обитатели Полуночного — даже суеверные безбожники альпинисты. Но из альпинистов этих лишь очень немногие решались пройти проверку на полуночность. Проходили единицы. Самый страх — что призрак может не прийти. Просто плюнуть на тебя — кто ты ему такой, в конце концов. Или прийти — но, увидев в тебе неправильного человека, не полуночника, — так напугать, что можно было откусить свой язык и свернуть уши в трубочки.

Первый день в доме я провел спокойно. Я пил вино, захваченное по дороге, рисовал на воздухе

свою девочку и смотрел в потолок. На второй день вино кончилось, потолок был досконально изучен, а воздух настолько исписан, что им было трудно дышать. К вечеру я впервые закричал. Весь третий день я кричал не переставая. Я звал призрака, маму и даже альпиниста Вову, что кормил меня конфетами и рассказывал о своей жизни в городе (в основном о половой). Четвертый день я встретил почти индифферентно — ни пить, ни есть уже не хотелось. На шестой день пошел дождь, и я сумел поймать ртом несколько капель, пропущенных дырявой крышей. В седьмой день я стал шептать, так как уже не кричалось, что, мол, приди, призрак, пожалуйста, загинаюсь. Ну. Ну, и пришел призрак. Спросил меня, чего это я так распизделся. Я сказал, что есть охота и пить. И, на самом деле, скучновато как-то. Лады, сказал призрак и пригласил следовать за собой. Я с трудом встал и, взяв призрака за руку, прошел сквозь дверь. Это было странное ощущение. Как будто в тело впиваются сотни, тысячи, миллионы крошечных игл, они пронизывают насквозь, они жгут, они раздирают капилляры и рвут нервные окончания. Потом вдруг это проходит, и ощущаешь, что заново если не родился, то хотя бы материализовался. Я увидел свет и небо, и вдохнул неисписанный воздух. Вначале было очень светло для меня, и я даже сел отдохнуть. Но призрак торопил. Потом мы дошли до речки, я там напился вволю и помыл свои ноги и хуй (если кто не знает, хуй надо часто мыть. Если хуй мыть не ча-

сто, то будет крайне хуево. Поскольку я неделю его не мыл, это действие было важным для моей самооценки). Потом мы пошли на гору. Вернее, полетели. Точно, полетели. Мы взошли на холм, и призрак спросил, умею ли я летать. Я сказал, что не пробовал. Надо попробовать, заявил призрак. Это был, конечно, еще один тест на полуночность, и я его успешно сдал. Я летал. Позже выяснилось, что каждый полуночник, в виде особой благодати, возложенной на него Черным Камнем, может совершить за жизнь от 20 до 30 полетов на небольшие расстояния. Главное — никто не знает, сколько лично тебе отдано полетов (это, понятно, зависит от заслуг в прошлой жизни), поэтому больше 20 обычно никто не совершает, не рискуют. Но некоторые пытаются ставить рекорды. Они разбиваются, но входят в историю. Что, безусловно, глупо. Входить в историю. Зачем? Чтобы через триста лет прочесть о себе один абзац в учебнике, которым школьник-дегенерат играет в футбол?

Теперь вы понимаете, как полуночники забирались на Камень — они просто взлетали. А так называемые «приобретенные полуночники», то есть рожденные не у нас, но прошедшие ритуал Посвящения, получали дар летать вместе с милостью быть полуночником. В общем, я взлетел, прилетел с призраком на Черный Камень, взял кусочек Камня и отправился домой. Кусочек Камня — это часть рассыпанной на плоской вершине Священной нашей Горы груды. Говорят, когда глыба кон-

чится, кончатся и полуночники. Наши потомки станут обычными людьми. Может быть. Им явно не повезло. Я душевно попрощался с призраком, и он меня обнял. Кстати, призраки — это те полуночники, что ждут своего перерождения. Спасая меня, мой призрак в то же время вылезал из живота какой-нибудь полуночницы. Вообще их зовут не призраки. По научному — Келиа Танте. Что это значит, не знаю: полуночники никогда не постигали науку, они ее получали. Правильно, в виде милости Черного Камня. Во как. Понимаете, почему все религии — ничто по сравнению с нашей. У нас нет никакого ада. Потому что нет грехов. Наш Камень все нам дает беспрекословно — нас у него мало, может о каждом заботиться индивидуально. И главное — мы умеем летать. Никакие полеты на всяких -планах и -шютах не сравнятся с той радостью, что испытываешь, махая руками как крыльями, передвигаясь в полной пустоте. Дыша голубым небом и желтыми лучами солнца — ты вдыхаешь солнце первым на планете. Я летел тогда и радовался. Было только слегка прохладно. В деревне меня встретили все. Вначале осмотрели на подлинность мой камень, потом стали радоваться, что я тоже правильный, тоже счастливый буду. Был пир. Был саmogон. Все деревенские красавицы показали мне свои груди. Чтобы я знал, зачем живу, наверное. Это были взрослые тети, и груди иных из них намного превышали величину моей головы.

о длине тварей

д-р Рашид ибн-Махмуд 1424 г.

Плохо быть тварью, еще хуже не быть вообще. Плохо быть тварью, еще хуже когда-нибудь появляться.

Твари различаются по размеру и форме чувственного восприятия. Горные львы, бараны, овцы и осы выражают свою тварную природу через мир, который они видят перед собой. Длина твари имеет первостепенное значение. Некоторые твари используют свою физическую оболочку для любви, другие — только для совокупления. Соитие тварей зарождает новую тварь, или несколько новых тварей. Каждая тычинка, каждый пестик, каждая вещь в себе — все многообразии пестрого и чудесного мира при ближайшем рассмотрении поражает воображение.

Страшен, жуток зверь дундук
Наш муслимский бурундук.
Страшен каждый день на свете —
Мрачны люди, глупы дети.

Для тварей характерно прыгообразное перемещение. Чтобы оценить истинную длину твари, необходимо увидеть ее в момент прыжка. Прыжок твари в длину все равно, что взгляд человека в беско-

нечность — он кратковременен и не имеет никакого смысла для тварного бытия.

Я, Рашид ибн-Махмуд, придворный космолог ибн-Падишаха II, измерил всех существующих тварей. Каждую ткань я трогал, и ласкал лепесток. Размер твари, то есть ее земная длина в момент прыжка — не имеет никакого значения, впрочем, как и все остальное. В этом я совершенно уверен, и никогда не предам это знание. Так оно и есть.

**сегодня
умер папа**

(жизнь вне жизни)

предисловие

Предсказатель не может абсолютно точно предвидеть будущее. Он видит лишь основную часть. А всевозможные вариации, варианты будущего зависят от персональных действий людей, имеющих сильную энергетику.

Скажем, вот человек, у которого запор. Он принимает пурген, чтобы вылечиться, и точно знает, что рано или поздно пурген поможет. Но когда? Это зависит от индивидуальных критериев каждого организма. И, кроме того, если пурген начнет действовать во время сна, или за работой, к примеру, он обусловит окончание данного процесса (сна, работы) и возвращение к нему позже. Или вообще не возвращение к нему в данный момент. Таким образом, пурген повлияет на другие факторы (окончание работы, состояние человека, который, не выспавшись, плохо будет соображать и т. д.), а в принципе пурген-то только должен был освободить человека от запора. К тому же, если человек вообще умрет до окончания действия пургена, то пурген никак не сможет улучшить самочувствие человека. И вот предсказатель. Каково ему! Он предсказыва-

ет, что пурген подействует, пурген действует, но на будущее умершего человека это, к сожалению, никак не влияет. Вы скажете: «это не предсказатель, а аналитик». Во, скажу, вы слова знаете! Но каждый предсказатель в какой-то мере аналитик. Глупый ведь не станет предсказывать будущее, ведь, по его мнению, это глупо.

Задача данной книги (если, конечно, эта книга имеет хоть одну задачу) — проявить, как предсказывает предсказатель, что он предсказывает, каким образом, и главное — НА ХРЕНА ЭТО НУЖНО ЛЮДЯМ!!! Кассандру сожгли, Моисея закидали камнями, Христа распяли, Орлеанскую девственницу — Жанну д'Арк тоже сожгли, а дотошные историки сейчас доказывают, что ее «предчувствия» — блеф; Нострадамус дожил до глубокой старости, но разве мне легче, что он знал о Второй мировой войне — миллионам убитых это не поможет, — но главное — ИХ НИКТО НЕ СЛУШАЛ! Предсказателей заменяли псевдопредсказателями — от Дельфийского оракула до сегодняшних цыганок-хироманток! Когда лидиец (мидиец?) Крез спросил в Дельфах, победит ли он персов, ему был дан странный ответ:

[цитата из Геродота]

Он подумал, что оракул вещает победу и пошел на персов, но проиграл и потерял свое царство, став пленником Кира. Тогда он обвинил оракул во лжи. А из Дельф пришел ответ, что читать предсказание следует так:

[цитата из Геродота]

Псевдопредсказания повсюду: мы можем пойти и узнать своё прошлое перерождение из компьютера, программа которого устроена так, что, получая некоторые данные о тебе, он путем перестановок цифр и букв дает тебе ответ. Мы можем пойти к цыганкам и они, не смущаясь, скажут, что нас ждет большая любовь, богатство, слава. И мы радостно поверим, ведь приятно такое слышать. Ложь круче правды. А астрологические прогнозы? «Звезды говорят» — ля-ля-ля! Как могут говорить огромные светящиеся шары, а главное — на каком языке? Я тоже, часто, когда делать нечего, прочитываю эти прогнозы: «ваши дела пойдут в гору, но — опасайтесь четверга, в четверг не выходите из дому и целый день смотрите астрологические прогнозы — это поможет». Их составители отделываются общими фразами и витиеватыми предложениями. Что, впрочем, для них естественно.

Так что тем, кто верит в эту чушь, читать дальнейшее бесполезно. Я лишь приведу пример: у самураев был обычай — они каждое утро очень долго приводили себя в порядок, причесываясь, к примеру, по 2 часа. Они просто каждый день были готовы к смерти, и хотели, если она наступит, умереть красивыми.

Умирайте красивыми!

Умирайте красиво!

О, как я ненавижу морозящий дождь! Это жалкая пародия на нормальные осадки. Будь ливень, может быть, удалось отменить бы похороны... Я споткнулся и чуть не упал, но вовремя восстановил равновесие. Гроб был довольно тяжелый и сильно давил на плечо. Чему там быть тяжелому? Эта мысль пришла ко мне не в первый раз. Я снова прикинул: он весил кг 70, а вследствие того, что не ел уже давно, наверное, около 60; сам гроб, сделанный из дуба с полосками «золотой» жести по бокам, весил около 50, может, больше. А еще там венки, да, на нем ведь одежда. И зачем одежду тратить? Покойнику все равно ведь, как его хоронят. Но... это аморально. Я был раза 4 на похоронах. Я был на похоронах деда, родителей, еще, кажется, Лизы. Дедушка умер, когда мне было лет 5. Я его почти не помню. Помню лишь, что все время плакал. Интересно, — я даже усмехнулся, чем вызвал удивление всех, кто шел рядом, — интересно, что чем похороны проходили позже, тем я меньше плакал. Когда умер отец — да. А потом уже нет вроде. Вот когда хоронили Лизу, совсем был спокоен и даже улыбался. Надо поплакать, что ли. Эта мысль прервала мои размышления, и я заставил, да, действительно, заставил себя подумать о том, что его больше нет. Нет сына. Он дожил до 22-х, а потом покончил с собой из-за этой сучки. Я оглянулся и окинул ее взглядом. Она шла позади процессии, опустив гла-

за. Дешёвая сука! Подзаборная грязь. Но и он идет. Когда он сказал мне, что влюблен в нее, я не поверил. Я засмеялся, я принял это за шутку. Но... он не шутил. И вот теперь... Теперь его нет. Харя толстожопая! Эти слова я ей сказал на ее сожаления, хотя, конечно, я ее уважал за то, что она нашла силы и пришла сюда, но ему это уже не поможет. Моя женушка плакала во-всю. Она была даже толстожопей его сучки, а противней — уж точно. «Он был таким молодым!» — воскликнула моя вторая половина. Я кивнул. И снова оглянулся, чтобы взглянуть на его сучку. Она быстро отвела глаза. Я не стал давать иск в прокуратуру, хотя жена настаивала, понимая, что сучку все равно не осудят. Она была не виновата. Это все мой сын-дебиленок, надо же, покончить с собой из-за этой бабехи. Я вот живу с такой уже 20 лет, а все терплю! А ты? Вот где проявилось воспитание моей жены — всякие романы, иностранные языки и прочая мутотень. Нормального мужика моя дражайшая превратила в нюню. «Тебя, сволочь, похоронить». Я вспомнил, что сын остался должен мне, кажется, около 9 миллионов. «Рановато умер! Что же это я думаю», — я оборвал себя. «Сынка-то нет, а я о миллионах. Мы с ним так в нарды резались». О, черт, опять не туда мысли идут. То есть я хотел пожелать успокоения его душе. Успокой, Боже, ты ему душу, мать его так и сяк. И чтоб этой матери, то есть, тьфу, душе, было там спокойно, куды она там попадет — в рай ли, в ад ли, или куды еще». Мои мысли были сбиты шепотом

моего брата, несшего гроб позади меня. «Заворачиваем!» Я автоматически завернул. Впереди, метрах в 50-60, были видны кладбищенские ворота. Открытые! Для тебя — сынок! Я никогда не называл его так при жизни. На то, что я назвал его «сынок», подействовала атмосфера похорон — атмосфера грусти, страдания, прощания с жизнью.

Он всегда называл меня «папашей». Помню, когда его однажды арестовали за хулиганство, он назвал, наверное, в первый раз, меня отцом. Когда я пришел его забирать, он сказал: «отец», но тут же, минут через 5, поправился и сказал что-то типа того: «Эх, папаша, папаша». Я усмехнулся, и моя женушка на меня цыкнула. Потом ей это показалось мало, и, впившись губами в мое ухо, она прошептала: «В такой момент, паскудник!» — и прижала платок к лицу. «Ты же, сука, не любила его, а вот на похоронах, приличия ради, плачет! Дрянь ты». — Я ткнул ее легонько под ребра и она, охнув, отошла на два шага в сторону. Я снова оглянулся на девку моего сына и поймал себя на мысли, что она ничего. Что за дурацкие мысли приходят мне в голову, подумалось. Если бы моя женушка могла читать мои мысли, она, наверное, сошла бы с ума! И это было бы прекрасно. Я бы поместил ее в сумасшедший дом, и моя жизнь стала бы раем. Хотя, наверное, я преувеличиваю. Она, думаю, знает, что я не очень высокого мнения о ней, не высокого ничуть, скажем прямо — низкого.

Я не заметил, как мы дошли до могилы. Земля была разбросана рядом с ней, мы опустили гроб на

землю и встали. Я не уверен, был ли мой сын христианином, но жена его крестила (насильно, что для нее — естественно!), она же настояла на присутствии священника на похоронах. Священник поздоровался с ней, кивнул мне и взошел на возвышение, как оно, черт его побери, называется, не помню, и стал читать что-то из своей книжки. Голос у него был очень приятный, и хотя слова я не слушал, — нафиг надо — иногда какие-то промелькивали. Типа: Упокой, Господи, душу раба своего! (он произнес свое-го), спаси и сохрани и т. п. Я-то считал себя человеком, не нашедшим своей религии, так что мало что в этом понимал. Его голос убаюкал меня. Я не спал две ночи. В отличие от своей жены, которая мало того что спала, так еще, по обыкновению, храпела. Я задремал стоя. Вернее, не задремал, а просто как-то растворился в воздухе, и та часть моего сознания, которая была на похоронах, становилась все меньше и меньше, пока, кажется, совсем не исчезла. Короче, я заснул. Или это был не сон?

II

Мы вернулись домой поздно. Вместе с целой оравой соболезнующих родственников, друзей (жены — естественно). Вся эта шушера ввалилась в квартиру не разуваясь и потопала на кухню — пить шампанское. «А я можно войду», — она мне печально

улыбнулась, и я подумал, что среди всей этой пьющей на кухне шушеры она мне, пожалуй, приятнее всех. И потом, она имеет право. Какое-то моральное. — Заходи, тебя ведь Вероникой. «Ага-ага». Она зашла. Под ее пальто, которое я автоматически повесил, была черная мини-юбка и очень миленькая кофточка. Мы прошли в мою комнату, она села в кресло, я — на стул. И тут я заметил, что под кофтой ее кожа черна — она сделала какое-то неловкое движение рукой. Я подошел к ней, оттянул рукав кофты и убедился в правильности моей догадки.

— Почему, — спросил я.

— Его предсмертное желание — он хотел, чтобы, если он умрет, я на похоронах была бы покрашена в черный цвет.

Я задумался. Да, на него похоже. Я расхохотался. Она рассмеялась тоже. (Видимо, я очень разительно смеялся.) Я встал и пошел на кухню за шампанским. На кухне картина была ужасающей. Пьяный Семенюк, утешая мою жену, залез ей под лифчик. Она же плакалась ему в плечо. Увидев меня, Семенюк засуетился, затушевался и испарился. Я взял бутылку «Советского» и полбутылки водки, какой-то заграничной. Эх! Как бы я хотел иметь шапку-невидимку! Не сапоги-скороходы. Не скатерть-лесбиянку, а именно что шапочку! Но шапки у меня не было, и я стал пробираться сквозь кучку соблезнующих гостей к выходу, усиленно работая локтями. Гости что-то мямлили в ответ о вечной жизни, небе и о вечно молодом ком-то.

Я кивал головой в такт их словам, создавая таким образом гармонию разговора без разговора вообще. Продравшись, я ринулся в свою комнату, успев освободиться от какой-то толстухи (кажется, моей тещи), пытавшейся прособолезновать мне. Вдогонку я услышал что-то типа — ему так сейчас тяжело. Когда я вошел в комнату, Вероника сидела на столе абсолютно голая, теперь уже совсем покрытая черным чем-то, и пела слог Ом.

Она сидела, сложив ноги «по-турецки» и чуть покачивалась, при этом ее груди как два маятника качались в сторону противоположную движениям тела.

«То ли она супер-блядь, то ли ебнутая, то ли какая-то такая крутая, что мне сейчас не понять», — подумал я. Но прежде чем я успел что-то ей сказать, она как-то молниеносно оделась, взяла свою сумочку и вышла из комнаты. Я выбежал за ней и попал в лабиринт такой с серыми стенами. Она бежала впереди, виляя черной задницей, хотя я помнил, что она что-то надевала. Я споткнулся, упал и открыл глаза. Я лежал в какой-то кровати с кем-то громко храпевшим. Мужские руки этого существа обнимали меня. Я зажег свет. Рядом лежала моя жена. Я вылез из-под нее и встал на ковер. Негры, нарисованные на ковре, мне кого-то напомнили, не помню кого. Я медленно двинулся к двери.

— Куда? — противный голос моей жены окликнул меня.

— В туалет, — сказал я первое, что придумал.

— Хочешь? — спросила она. Я обернулся. Она скинула одело и лежала раздвинув ноги.

— Потом, — выдавил я и быстро вышел. Я абсолютно не хотел. Но — что делать?

Я прошел в комнату сына зачем, не знаю сам. На столе лежал толстенный дневник с надписью «лично» и журнал «Penthouse». Я открыл, естественно, «пентхауз» и полистал. Взял этот дневник и пентхауз под мышки (левую и правую соответственно) и пошел трахать свою женушку.

III

Проснувшись, я стал читать Penthouse, конечно, чтением это назвать нельзя, но... Чтобы избежать доебки своей половинки (жены), я закрыл пентхауз дневником сына, и когда жена заходила в комнату, сразу же прятал пентхауз в подушки и принимался разглядывать (а не читать) дневник. Моя консервативно-религиозная жена не переносила пентхауз на дух.

А так как жена заходила очень часто, вскоре я, сам того не замечая, углубился в дневник.

Там после надписи на первой странице какими-то иероглифами дальше следовало:

«Мне надоело, понятно! — крикнул я учителю. — Вы ударили меня этой палкой по башке уже 15 раз, а ничего кроме шишек я не получил!» «Не все сразу, — сказал он, — тем более, шишки — это пусто-

та». «Ай ну вас! Чтоб все дьяволы во главе с Митрой...» Я не закончил, и он врезал мне палкой еще раз. Теперь по животу, и я, произнеся неопределенный звук, упал. Учитель приложился к бутылке.

— Разве адепт не должен во всем отказывать себе, не пить, не курить, не заниматься любовью, а изнурять себя постами и испытывать свою веру?

Учитель в ответ заржал.

— Знаешь, — сказал он, помолчав, — некоторые пытаются добиться просветления, отказывая себе во всем, другие наоборот, роскошествуют, и те и другие добиваются своего, но первые при этом еще и страдают.

— А вы пытаетесь просветлить меня ударом по морде? Вас ведь никто не просветлял так.

— Я сразу понял, что я перерождение Лао-цзы.

— А если я завтра пойму что я перерождение Миларепы, скажем?

— Тогда, Чжон-чжуан, я заставлю тебя писать стихи.

У меня была еще куча вопросов, но я не стал его раздражать.

— Раз пить не грех, можно и мне, — я кивнул на его бутылку.

Он протянул ее мне.

Но то, что я выпил, было чем-то чрезвычайно странным.

Это было живым. Нет, я не чувствовал то, что чувствуешь, когда ешь мясо и представляешь, что оно было когда-то барашком, я не чувствовал, что

чувствует волк, грызя живого кролика. Это жило во мне, как будто не я это выпил, а это влилось в меня.

— Что это, — спросил я учителя.

— Вода.

— Нет, это не может быть просто водой. Я пил воду. Это... это... это живет.

— Да, — он улыбнулся мне ушами — они загадочно засветились, — это живая вода.

— Как в сказках?

— Не совсем, — он просто хохотал — теперь к ушам добавился и подбородок, — в сказках живая вода оживляет, а это просто живет.

— Живет? А как? А зачем?

— Ну — он задумался — понимаешь, представь, что ты получил просветление, но не совсем, тебе чего-то не хватает. И вот ты умираешь и становишься, скажем, пауком. Мозгов у тебя — тьфу, но опыт предыдущих остался. И мозгом этого существа ты получаешь ту малость, что тебе необходима.

— А эта живая водичка здесь причем?

— Ну представь, что вместо паука ты стал водой...

— Я выпил мудреца?

— Ну... вроде того...

— А он не обиделся?

— Не пори чушь, — рассердился учитель, — если б ты утонул в океане, ты бы на него обиделся?

— Нет, он же не живой.

— А ты что, живой, — усмехнулся учитель и, взяв у меня бутылку, приложился к ней».

Вошла жена.

— Что читаешь?

— Penthouse, — сказал я. Я был уверен, что к тому, что я читаю дневник сына, она бы отнеслась нормально, но то, что я там читаю — свернуло бы ей крышу. Она хотела прочесть мне нравственную лекцию, но я уже читал дальше.

«Я вырвал у него бутылку и разбил ее.

— Ты чо? Помешался?

— Это же убийство, он же живой, — ответил я.

— Идиот, — сказал учитель.

— Как хоть его звали, — спросил я.

— Это был Ле-цзы, по-моему, или его часть.

— Я выпил Ле-цзы? — Я заплакал. Я упал на колени и стал молиться.

— Ну ты кретин, — сказал учитель и врезал мне палкой под дых, по морде и по левой ляжке. Я понял, что сделал глупость и попытался показать учителю, что я не хотел этого делать.

Я попытался что-то сказать, но он показал знаком незначимость этого и кинул мне ведро — «за водой!»

И я поплелся вниз с горы к источнику. Все время, что я шел, меня мучил лишь один вопрос: что стало с учителем, вернее с той его частью, что я выпил из бутылки».

Действительно, что? — подумал я.

«Вот кофе, милый», — сказала жена входя.

«Две минуты», — сказал я.

«А что же с ним действительно стало? Ты, пап, не знаешь?»

Я вострепнулся и еще раз прочел последнюю строчку. Там четко, корявым почерком сына было нацарапано: «Ты, пап, не знаешь?» Я, офигев, прочел дальше: «Читай дальше, не забивай голову вопросами», — и я продолжил: «Конечно, в землю впитался, а что же еще быть могло, сказал учитель.

— А почему мы пили именно Ле-цзы, — спросил я.

— Тебе что, разносолов подавай, пили и пили.

— А почему именно такую воду.

— А тебе не похуй что пить?

— Все, надоел, — бросил он на мою попытку открыть рот. — Я пошел, помедитирую, идешь?

— Позже.»

— Ну кофе остынет, когда пить будешь?

— Позже.

— Давай пей! Надоел. За ним тут ухаживают.

Я спрятал под подушку пентхауз с лежащим в нем дневником и взял кружку с кофе.

— И читает-то! Как пацан 14-летний.

— А иди ты!

Она обиделась и, взяв свой кофе, вышла.

Я открыл дневник. Страница, где я читал, кончилась, и я открыл новую.

На ней стояла дата «15.12.88». Я прочел: «Я был тих.» Прочитав эту фразу раз 15 и не поняв к чему она я все-таки решил продолжить: «Я был тих. Медленен и журчал». Тут я взорвался. И от размеренного чтения мыслителя-интеллектуала перешел на пулеметное — журналиста: «Я был тих. Медленен и журчал. Я был широк, непонятен самому себе

и не осознан. То, что понимало меня, не было моим разумом. То было что-то не относящееся ко мне, являющееся не мной. Чем-то тем, что было когда-то мной и вскоре будет мной. Я был абстрактен сам для себя, хотя подтверждения об обратном были — я журчал».

Дальше в дневнике запись шла другим пишущим средством, это единственное, что роднило то, что я прочел уже, с тем, что я прочел позже. И хотя понял я немного, читать было занятно:

«Самопознание имеет время. Тем более самопознание себя. Оно имеет место и качество, но оно является неточным. Я, осознавая себя сейчас, могу сказать, что я называюсь так-то и облачен в то-то. Я не знаю, кто я и не знаю, зачем я. Большинство думает, что познать себя — это познать привычки данного тебе тела и привычки, прививаемые телу тобой. Большинству кажется, что познать себя можно лишь сейчас. Мне же проще познать себя ручьем, веткой, дикобразом, ведь я знаю о них со стороны сейчас то, чего не знал, будучи ими».

«16.11.98»

«Папа не купил мне все-таки мяч».

Вот тут я охуел. Действительно охуел. Что он говорит? Я не понимал, куда он бежит или куда бежит его мысль. Мысль изреченная была быстрее меня, он просто обмысливал (sic!) меня. Он — кто — он мой 14-летний сын, которому не купили мяч? Или что?

«Пара» — это жена. Оно говорит это слово очень противно «Па-ра, па,ра!!!» Она упивается от не-

го, она кончает. Я знал куда пора. Бросив дневник в дипломат, я ушел.

На работе, привычно дроя компьютер до обеда, я все думал о дневнике. В обед я достал его и открыл посередине:

«Папа вышел на улицу и попал под машину». «Я? Под машину?» Я не помнил, чтобы такое было. «Бред», — бросил я.

День медленно тянулся к вечеру, вечер тянулся к концу, а конец просто стоял, ничего не делая.

Я медленно вышел на улицу и встал, ждя зеленого света. НО я ждал напрасно, светофор, сломавшись, мигал лишь красным. Плюнув на карму, которая, впрочем, увернулась, я бросился вперед. Дорога вроде была пуста, но вдруг свет резанул глаза, я увидел перед собой лобовое стекло и за ним испуганную очкастую рожу. Я не успевал бежать и по-детски закрыл лицо руками.

IV

Моя нога белела надо мной как парус. Такому полному поэтизма и романтики сравнению мешала прийти в голову адская боль, шедшая из-под паруса по нервам в меня.

— АААААААААА, — кричал я, постепенно сознавая, что я действительно кричу.

— Видишь, не рассчитали, — предположил чей-то голос, и мне в руку вошло что-то холодное и тонкое и через мгновение вышло, и я опять исчез.

— Состояние нормальное, он уже должен прийти в себя. Посидите? Посидите-дите-ага. Я буду да-да-да.

Эти звуки способствовали, вернее они совсем не способствовали, а скорее доставали, скорее они были спутниками моего пробуждения.

Я очнулся от первого же толчка реальности, задевшей ногу, и бросившейся извиняться: «Ой, Вань, прости меня».

Она была смешна: напудренная, нарумянено-напомаженная — среди белых-белых стен, на фоне моей растревоженно-болящей ноги.

— Ты несуразна, — заключил я.

Она присела около него и стала быстро тараторить о чем-то. Он вначале сделал вид, а потом действительно уснул.

Сын снился ему. Сыночек.

«Папа мертв всегда, папа мертв бесследно, не найди мне без труда то, что кушать вредно».

Я проснулся в холодном поту, осознав вскоре, что это не пот, а моча. Я не знал, кого звать на помощь, и попробовал подняться. Но это не получилось.

— Люди!

— Ну?

Заспанная белохалатно-очкастая харя смотрела на меня из темноты ночи.

— Я мокрый, — сказал я.

— Я пьяный, — сказал доктор и ушел.

Мой мат в его адрес, безвкусный и малоинтересный, повис в тишине и запахе хлора. Я спал и мне

снилось: «Папа мертв всегда, все мертвы всегда. Все, кто умер, снова мертвы».

— ... Он обязательно поправится.

— Он живучий. Ганг... не будет.

Я все время силился понять смысл того, что там говорили, но мог лишь частично.

«Ну... подействовало?» — спросил учитель.

— Нет, вроде.

— Давай проверим. Вон, видишь ту вершину?

— Вижу, — сказал я, не понимая, какую он имеет в виду, ведь мы были на равнине и гор не было далеко от нас.

— А какую ты видишь?

— Никакой.

— Ладно, — сказал Чжон. — Ща помогу. — Он схватил палку и долбанул меня по башке.

И тут я понял всё, и, поняв, я выхватил палку из его рук и хохоча врезал ему по голове: раз, другой, пятнадцатый... Я был как во сне.

Он лежал, и его седая борода флуоресцировала при свете луны. Из-под косматых бровей сочился свет.

— Ты понял. Прощай!

— Прощай!

— Нет, Лариса Петровна, вы ошиблись, он еще не умер.

— И не собираюсь, — услышал я свой голос.

— Ой — живой!? Дай я тебя расцелую, — жена стала проявлять положенную ей по долгу женской службы сопливость.

— Оторвите ее от меня, а то она своими соплями весь гипс промочит.

Кто-то оттянул и увел жену. Он же спросил, как спалось. Ответил: ничего. Он: что болит. Все, говорю, хорошо, только кто-то ночью пьяный (возможно, вы) приходил сюда. Он говорит: не пью вообще, уже 2 месяца.

— Ваше сиятельство...

— А, Гарди, простите, зачитался.

— Ну как почивали?

— Да неплохо.

— А как почивала леди Лакетуш?

«Эта, бля, стерва?»

— Прекрасно, Гарди, прекрасно.

— Ваш кофе, сэр, — сказал, входя, дворецкий.

— Спасибо.

Я пил кофе и оглядывал Гарди. Он как всегда был безукоризненно одет, по последней моде: камзол на 135 пуговиц, шелковые панталоны, франтовской берет с пером и белая повязка от уха до уха, закрывавшая рот, с тесемочками. «Что это, — подумал я, — Гарди, что...»

— Я не Харды, а Семен Николаевич.

— А, простите, так это вы были ночью?

— Не, это призрак Боткинской.

— А что это за призрак?

— А у нас здесь призрак завелся... каждую ночь ходит, пугает всех.

— А вы пробовали священника позвать?

— Да звали, только он ничего не смог сделать.

— А как зовут призрака-то.

- А я — знаю? Я с ним не говорил.
- Да, Гарди, — сказал я, — ну и в хорошенькое дельце вы меня втянули.
- Лакетуш — вы боитесь призраков?
- Да нет, не очень.
- Ну тогда все хорошо, а призрак — это выдумки Альберта Конгошейна.
- Кого?
- У нас тут один в 5 палате лежал, он и придумал призрака.
- А вы в него верите?
- Когда вижу, то да. — Извини, — сказав, что в 5 мне сдавать анализы, он удалился за дверь, уйдя от разговора о призраке.
- В хорошенькое дельце вы меня втянули, Гарди, — почему-то сказал я.

V

— Вперед! На абордаж!

Безумные крики раздавались повсюду.

Я схватил со стены винтовку и выбежал на палубу. Какой-то амбал — под 2 метра, с дубинкой в руке, налетел на меня. Он ударил меня дубинкой, но я присел, и она пронеслась над моей головой. Я тут же врезал ему по яйцам, он пошатнулся и рухнул за борт.

— Бей их, бей вандалов, бей иродов, — кричал я. Почему-то слово бей я кричал как-то странно не бей, а бий, а слово их вообще не понятно, т. е. я по-

нимал его значение, но не понимал что это за слово вообще. Я кричал — зем!

— Бий зем, бий вэндалэ!

— Что с ним?

— Бредит.

— Бий иродэ!

— Что нужно сделать?

— Анальгин и димедрол.

— Вот.

— Разожми ему зубы, вот так, да.

— Что теперь?

— Ждать. Иди, поспи, я подежурю.

— Бий зис пазерфакрез! Мойй!

— Боже, что с нами будет? — крикнул кто-то.

— Все будет хорошо, — ответил я, не веря.

«Пиратов было раз в 7 больше, чем нас. «Мои детки» — подумал я. «Сиротки» — мощный удар по голове сбил меня с ног, еще один — в живот, не дал мне встать. Потом раздался грохот и крик: Капитан мертв, капитан убит, капитан убит бесследно».

— Убит!

— Как, все хорошо?

— Что со мной было?

— Вы бредили.

— А жена.

— Позвать?

— Давайте.

Она вошла.

— Дневник... — слабо прошептал я.

— Что?

- Мои бумаги.
- А, с которыми ты попал под жигуль.
- Ага.
- Вот они, у меня в сумочке.

Она вывалила из сумочки помаду, зеркальце и мою рабочую папку. Высвободив из-под одеяла руку и нащупав дневник, я открыл его наугад.

«18.03.97. Сегодня умер папа.»

— Нет!

«'97 сегодня умер папа.!»

— Нет!

«Папа — умер!»

— Нет!

— Убирайся, — сказал я жене.

— Ты чо, с ума сошел?

— Я хочу побыть один.

— Ладно, иду.

— А какое сегодня число?

— Восьмое.

— Иди и помни, я иногда любил тебя.

— А ты мой сладкий, — сказала она.

— Отстань.

Она спросила: «А бумаги брать?»

— Да, кроме этой.

— А что это?

— Отчет о строительстве мышинных норок.

— А-а. Ну я пойду.

И она ушла, оставив меня с дневником в руках, с надписью в нем на раскрытой странице: «Сегодня умер папа, сегодня он погиб».

Я прочел много-много раз ту часть «Дневника», в конце которой стояло «Сегодня умер папа».

Она была небольшой, так что через два дня я знал ее наизусть.

10 марта. год 1997. век XX летоисчисление от р.х.
Туманно. Ничего не могу сказать.

11.

Проясняется.

Видел папу, он видел сон о том, как он видел сон в Китае.

12. Папа заигрывает с медсестрой...

Нет, я, наверное, сошел с ума. Но сравнив все, что было со мной, с тем, что было описано в «дневнике» после слов: «Папа вышел на улицу и попал под машину», я понял, что это было идентично событиям моей реальной жизни (а может, дневник и был реальностью?) Я научился слепо верить дневнику, однако про медсестру — это ерунда. Моей медсестре было лет 80. Ни за что ей не заинтересуюсь. Это — бредня! Как можно заигрывать с 80-летней старухой? Или тут в смысле «заиграть» у неё что-нибудь — напр. — шприц. Но зачем? Никогда не буду ничего! — решил я и заснул, помня, что не буду видеть сон про китайцев.

— Спокойной ночи, Чунь-чао.

— И тебе так же, Дзе-донг.

Я не мог заснуть долго. Во-первых, Дзе-донг храпел, как як, во-вторых, звездная ночь склоняла к медитации, а медитировать спя я не умел. Медитнув около часа, я прилег на одеяло и заснул.

— Ну как спалось?

— Неплохо, Дзе-донг.
— Если хочешь, расскажи сон.
— Я беспокойно спал?
— Да, как бешеный як.
— Ну слушай. Сон мой необычен. Так вот: лежу я в белом помещении, пахнущем лекарственными травами, и зовут меня Ван.

— Ага!

— Не перебивай. Так вот лежу я, а вокруг призраки цепями гремят, люди какие-то ходят...

— И что?

— Дай же мне сказать. Помолчи! Так вот: я лежу, и нога у меня болит. А уже вечер. И тут я засыпаю и вижу сон, как два китайца говорят о том, кто я во сне. И одного из них зовут как тебя. А другого — как меня.

— Станный сон, клянусь Буддой!

Я тихо пробудился, пытаюсь забыть лицо Дзе-донга и китайцев: «Будь проклят этот дневник!»

VI

12.03.97. Папа заигрывает с медсестрой. Кажется, он ее трахнет. Вот папа бабник! Он маме изменял раз 20, а тут медсестра... Нет, точно трахнет.

13.03.97. Кармическая развилка: выпутывайся, папа!

Она вошла в палату легкой, почти воздушной походкой и встала около кровати.

— Вы — Семиханов?

— Отчасти, — говорю. А она:
— Вы анализы сдавать будете через 2 мин. —
приготовьтесь.

— А вы вместо Маликовой?

— Ага. Я её заменяю.

Не трахну — никогда, никогда!

— А вы, кажется, под машину попали?

— Да.

— А вы не рады, что я вместо Маликовой?

— Нет, т. е. да, т. е. конечно да, вы эта.

— Ага, — смеется она, — как раз эта.

Что это, я спрашивать не стал. «А почему мне собственно её не трахнуть», — спросил я себя и тут же вспомнил: «восемнадцатое: сегодня умер...»

— Вы побыстрее, пожалуйста.

— Я вам не нравлюсь?

— Да, т. е. нет, т. е. да, да, т. е. нет...

— Вы нервничаете?

— Я — нет, ни капли.

— Я могу вам помочь? — спросила она присев на край кровати.

— А как вас зовут.

— Разве это важно? — она приблизилась в мою сторону на 2 см.

— Как вас зовут? — еще на 5.

— Как зовут, как?

— Жозефина, — выдохнула она и припала к моим губам.

Вернувшись с охоты, измученный и усталый, я решил отдохнуть. Попрошавшись с гостеприим-

ным Гарди и его друзьями, отправившимися в пиршественную залу, пообещав спуститься, когда отдохну, я, прихватив бутылочку виски, пошел по лестнице в свои комнаты. Что гремело наверху — летучие мыши или... призрак? Я глотнул еще виски, и, вспомнив о своем братстве с чертом, пошел наверх. Звяканье металла и чье-то шебуршение продолжались.

Наверху крученой лестницы что-то блеснуло, екнуло сердце, но я продолжил свой путь. Вдруг впереди я увидел свет и белое чудище в цепях и с крестом, которое кричало: «Раздели все поровну, а что неделимо, преврати в естественную монополию». Я оступился, и покатился кубарем вниз по лестнице. Ударившись два раза головой о ступеньки, я понял, что третьего не переживу... и попрощался с этим миром.

«...Естественные монополии установлены на газ, нефть, связь (в т. ч. и голосовую) и фискалии». В соседней комнате, как пулемет, стрекотал телевизор.

— Жозефина, — сказала она и приникла к моим губам. — Так ты меня трахнешь?

— Нет проблем, т. е. есть.

— Ты импотент?

«Я? Нет», — хотел сказать я, но передумал. «Эта жалкая бумажонка не должна иметь власть надо мной! Я гордый гомо сапиенс — и это звучит гордо!»

— Да — сказал я гордо, довольный своей победой над судьбой. — Я импотент, слышала, импотент!

— Тебя это радует, — удивилась она.

— Да, т. е. нет.

— Аа, — она встала, сразу похолодев, и взяла у меня анализы.

«Я победил судьбу, — гордо думал я, — теперь я не умру!»

Будущее — как река. Когда ее видишь издали — она одна, когда идешь к ней — другая. Когда тыходишь в нее — третья. Когда вылезает — четвертая. Поэтому бесполезно стремиться именно к той реке, которую ты видел издалека: её больше не существует. И главное: тебе неизвестно, существует ли река, когда ты не смотришь на неё.

VII

13.03.97. Кармическая развилка: выпутывайся, папа! Папа, похоже, не верит, что умрет: увы! Сегодня Он ниспослал папе испытание: выдержит ли папа, не знаю. Чжон-то выдержал бы, уверен.

Сазерлэнд Макманамэн вышел из своего лосанджелесского офиса в благодушнейшем настроении: дела шли прекрасно, деньги шли к нему рекой, все его уважали, да плюс к этому он уволил управляющего. Тот, как подбитая собака, метрах в пяти от Стива, смотря на меня глазами зайчика, умолял:

— Стив, прошу, я не хотел, прошу, хочешь, вылижу твои ботинки?

Не обращая на него внимания, Стив закурил гаванскую сигару, ее вкус мне понравился.

Стиву почему-то подумалось, что будь у меня ученики, и будь я буддистским философом, Стив бы рассказал им такую притчу:

Умерло несколько человек, и призвал их Будда. Один из них, человек богатый, приперся на небо с гигантским мешком. «Что там?» — спросили его другие. Это, сказал он, золото. «Тебе оно здесь не понадобится, здесь нечего покупать». А это чтобы заплатить Будде за хорошее последующее перерождение.

— Всё? — спросил ученик.

— Нет, — сказал Чжон, — кончается тем, что остальные убили богача и взяли его деньги.

— А им они зачем?

— Не знаете, что такое «кармический»? — спросил я.

— Пусти меня обратно, мы же друзья, Стив.

— Пока, Джонни, — сказал я, садясь в свой кадиллак.

Утро было пухлым, как сдутый резиновый мячик, а может, утра не было вообще, так как я всё утро проспал. Солнце светило ярко, раздвигая тучи, а может, это тучи расступались перед солнцем. Я знал, что не умру теперь, и радовался. Хотя утром я прочитал «сводку на день» из «дневника», мало что поняв, правда.

Вошла Жозефина.

— Не знаете, что такое «кармический», — спросил я.

— «Комический», — отчеканила она, — это смешной, забавный, прикольный, — и вышла, оставив меня в недоумении.

«Посмеяться, что ли», — подумал я.

— Ха, ха, ха.

«Глупо, глупо. И потом, я не верю этой ёбаной бумажонке!»

И вдруг я почувствовал себя идиотом, все вокруг идиотским и тупым. Я как будто вынырнул на миг из болота, в котором тонул уже давно, и увидел мир вокруг.

Я увидел неправильность своей кармы и услышал голос сына: «Это мой подарок тебе, Чжон!»

«Карма». Я, похоже, знал это слово. Оно означало что-то вроде судьбы, жизненного пути, кажется. Странно. Что-то говорило мне, что это мимолетное видение важно для меня, а что-то, более земное, его отрицало. Это видение пролетело мимо меня, и, стукнувшись об мое подсознание, ушло, оставив там отпечаток.

«Где я?» — подумалось. «Что я?» — «Зачем?!»

Эти вопросы задавало что-то внутри меня, что-то таинственное и древнее, живущее в уголках моего сознания и давно хотевшее выйти наружу. Мое социально обустроенное сознание не замечало или не хотело замечать эти кусочки, противоречащие ему. Два меня внутри моей оболочки, похоже, были готовы к решительным боевым действиям.

«Пропавший во мраке да увидит свет, ослепленный светом да получит тьму», — послышалось.

«Жизнь — это путь самосознания, предназначенный для внутреннего и внешнего благоустройства», — послышалось с другой стороны.

Две мои части — они называли себя Чжон и Стив — были готовы. Война — началась.

Случалось ли вам, принимая какое-нибудь решение, сомневаться в нем? — наверняка. Что-то в вас хотело одного, и что-то — другого. И вы частенько не могли понять, на чьей вы стороне.

Впрочем, я немножко заблуждаюсь. Вы в те моменты и были теми двумя, тремя частями, борющимися за власть над вашим бранным телом. Вы, составлявшее единое целое, бывшее вами, делилось на некоторые самостоятельные части, которые тоже были вы, но уже не тот вы, бывший единым целым. В эти моменты вы как бы не принадлежали себе, становясь как сумасшедший. Отсюда — большинство нервных расстройств, психозов, депрессий, истерик. Функции вашей оболочки, связанные с передвижением, поглощением пищи, даже с ответами на несложные вопросы, выполнялись чисто автоматически, инстинктивно. Назовем человека в эти моменты — дробным. Во-первых, он больше не составляет единое целое, во-вторых, он дробится на мелкие части, в-третьих, т. к. происходит дробление и деление его сознания и т. д., человек в такие моменты пребывает, как средневековая Европа, в состоянии феодальной раздробленности.

Физически я не ощущал ничего. Ни боли, ни неудобства, ни каких-либо воздействий чего-либо на мою оболочку. Но вскоре я понял, что кое-что ощущаю. Я ощущал отсутствие ощущений. Я как бы пребывал в изоляции от внешнего мира, меня

не было с моим телом... Я находился где-то в подсознании, где-то, где был лишь во снах. Я был своей душой. Впрочем... я неправ. Меня, как такового, не было. Т. е. не было меня, сознающего меня собой, сознающего свои моральные и физические кондиции. Те два меня, хотевшие стать тем мной, кто он был уже 40 лет данной жизни, по сути, были моими частями, но я их никогда не знал. Так кто же я такой, спросил я себя, знаю ли я себя?

Приступы боли не дали мне размышлять. То есть не мне, а той моей части, которая звалась Чжонном, т. к. я, который был Стив, пошел в наступление на меня — Чжона.

Когда я был маленький, папа часто поучал меня. Он приходил домой уставшим после офиса и, если его настроение было не плохим, брался учить меня жить. Я помню, как он с трудом садился в кресло, брал меня на коленки и говорил что-то вроде:

— Да, сынок, деньги великая вещь.

Тогда я был маленький и несмышленный и отвечал:

— Деньги, папа, не помогают человеку в самосовершенствовании.

Он хохотал и говорил:

— Поживи с моё, сынок, все поймешь.

Я не спорил тогда с ним, считая его заблуждающимся, а себя просветленным.

— Если бы не деньги, ты бы и сейчас был просветленным, — отвечал Чжон.

И вдруг я понял. Я понял, что Чжон и Стив — лишь возможные варианты моей будущей жизни.

ни. И я — Я! — должен выбрать свой будущий путь. Я вспомнил слова «дневника» о кармической развилке, вспомнил «глоток воздуха» утром, вспомнил свою ненависть к американцам и, увидев вдруг перед собой два пути, бросился к пути Чжона, я захотел стать Чжоном, и став им, понял, что был им уже давно.

Стив растворился где-то и засел в темном уголке подсознания, на который мне было наплевать. Оцепенение медленно сходило с меня, я стал понимать мир, находящийся около меня.

Наверху кто-то глупый и самоуверенный произнес: «Он умирает, несчастный». А я был так счастлив.

VIII

14.03.97. Нет слов, я счастлив, да и он тоже. Истина одержала победу.

15.03.97. Копшение людей на земле, скучно. Они думают, что теряют его, не зная, что мир обрел его вновь.

16.03.97. Туманно. Да я особо и не стараюсь; не важно.

17.03.97. У него заражение крови: уже скоро

18.03.97. Сегодня умер папа. Сегодня он погиб. Ура! Я снова встречаю его тем, кем знал десять веков назад.

Хотя, если жить согласно природе, всё возможно.

IX

Я гуляю с сыном по парку, мы ведем беседу. Впрочем, парк этот чисто условный, он есть лишь в нашем воображении. Но ничего, кроме воображения и того, что может его создавать, у нас нету.

Я был здесь тысячи раз и всегда поражался этому месту. Многие, неопытные, проскакивают его, даже не оглянувшись, а мне бывает приятно отдохнуть от жизненной гонки в Бардо.

— Ты доволен? — он хочет узнать мою эмоцию.

— Это — преходящее, — говорю я. На самом деле я не говорю, а только представляю свой ответ в уме, но здесь этого достаточно.

— Недавно ты не был в этом уверен.

Он хочет, чтобы я его похвалил.

— Спасибо.

— Ничего, когда-нибудь ты исправишь и мою карму.

Я подтверждаю.

— Я его увижу? — спрашиваю.

— Нет. То, что тебе предначертано, ты получишь в прежней жизни. Не спрашивай. Он этого не хочет. И: попытайся сделать так, чтобы все это не пропало.

— Один вопрос.

— Да, Чжон.

— Я ведь не твой отец.

— Нет, конечно.

— А кто же был твоим отцом?

— Имеешь в виду в последней жизни?

— Подтверждаю.

— Ну...

— Послушай: теперь я лишен чувства ревности.

— Ладно: это дядя Миша из пятой.

Эмоция: смех.

— Мне пора. — Он улыбается. — Узнай меня потом.

— Конечно.

— Помни, — он постепенно исчезает, — ты еще раз встретишь кармический барьер из прошлой жизни миллионера: он будет опасен.

Выражаю презрение.

— Один раз ты уже попался. Дважды он тебе не поможет, хоть ты и первый бодхисатва после Него.

Мой сын исчез, и я, сам того не ведая, последовал его примеру, вверяя себя карме.

Х

Морозящий дождик не являл собой образчик прекрасной погоды. Но не был ненавистен. Я кинул пригоршню земли на чью-то могилу, и вскоре она была засыпана.

Моя невольная спутница жизни — жена, похоже, действительно расстроилась. Увы — не мог ей объяснить всю несуразность её слез. Кто-то потрепал по плечу, что-то сказали, но я не заинтересовался что. Все были унылы и, если причиной тому было чье-то перерождение, это удивляло.

Домой мы вернулись поздно. Пока шли поминки с обилием водки и слез, я вошел в комнату сына. Что-то странное лежало на его столе.

Это была тетрадка с надписью «дневник». Я открыл наугад и прочел:

«Сегодня умер папа, сегодня он погиб».

Это немного смутило, но ненадолго. Я понял то, что когда-нибудь поймете и вы. Расхохотался, схватил дневник и выбросил в форточку, мне больше он был не нужен.

Питер — Москва — Крым — Москва —
Крым — Москва — Крым, 1996 г.

Радов Алексей

МЕРТВЫЙ НОЯБРЬ

16+

Ответственный редактор А. Герасимова

Компьютерная верстка: С. Валишин

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

109028, Москва, Покровский бульвар, д. 14/6.

Факс/тел.: +7 (495) 626-24-70; e-mail: izdatelstvo.ogi@yandex.ru

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Сеть магазинов «Республика». Тел.: (495) 251-65-27.

В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- Санкт-Петербургский Дом книги, м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
Невский проспект, д. 28. Тел.: (812) 448-23-55.
- Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
- Книжный магазин «Все свободны», наб. Мойки, 28. Тел.: +7 (911) 977-40-47.

ОПТОМ

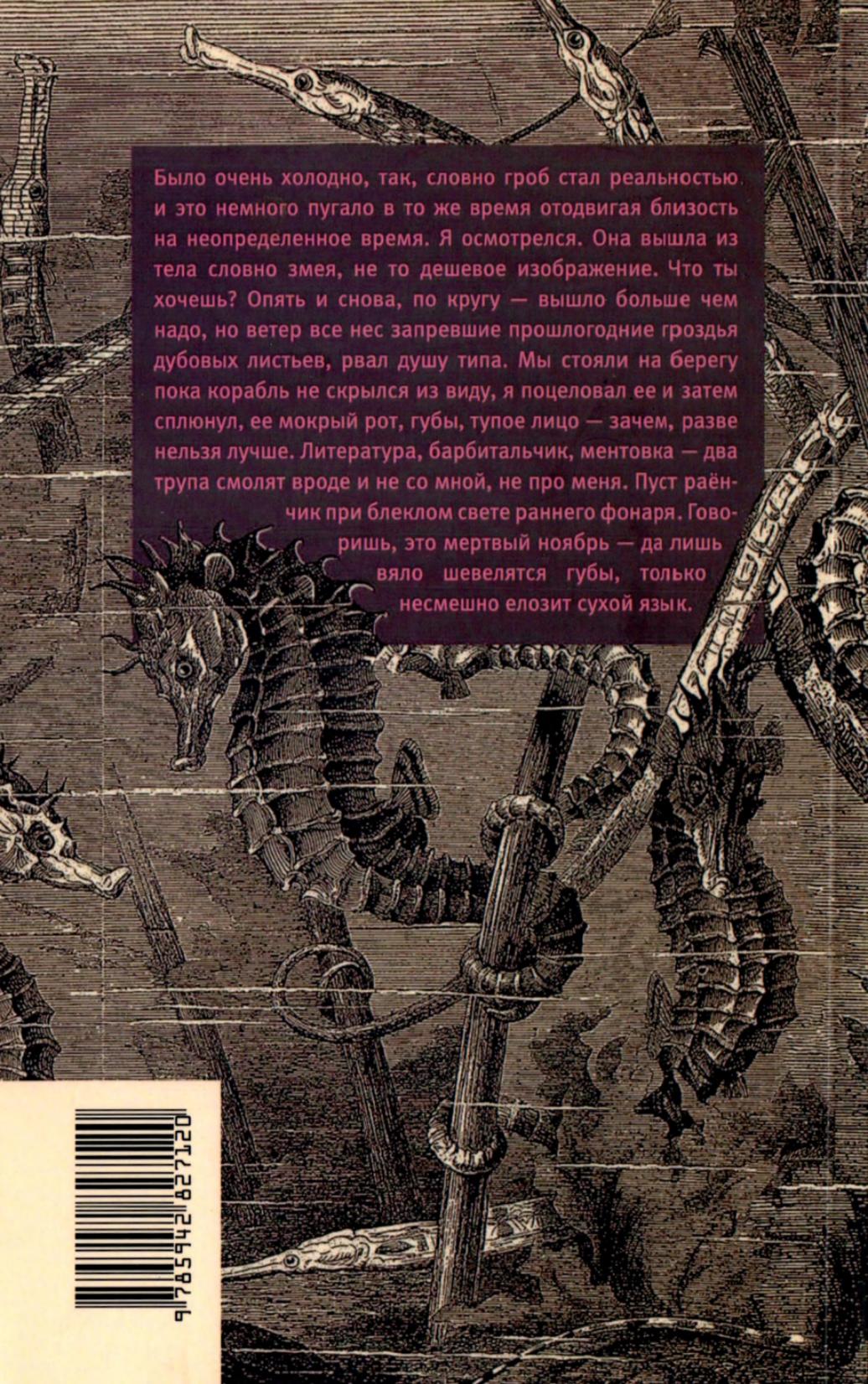
- КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва, Покровский бульвар, д. 14/6.
Тел. (495) 626-24-72; +7 (915) 110-36-50.
- «А. Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. О., д. 5/7. Тел. (812) 325-66-61.

Подписано в печать 21.01.14. Гарнитура Октава.

Формат 84×108/32. Объем 9 печ. л. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в ООО «Группа ЭмБиАй».



Было очень холодно, так, словно гроб стал реальностью и это немного пугало в то же время отодвигая близость на неопределенное время. Я осмотрелся. Она вышла из тела словно змея, не то дешевое изображение. Что ты хочешь? Опять и снова, по кругу — вышло больше чем надо, но ветер все нес заповревшие прошлогодние гроздьа дубовых листьев, рвал душу типа. Мы стояли на берегу пока корабль не скрылся из виду, я поцеловал ее и затем сплюнул, ее мокрый рот, губы, тупое лицо — зачем, разве нельзя лучше. Литература, барбитальчик, ментовка — два трупа смолят вроде и не со мной, не про меня. Пуст раёнчик при блеклом свете раннего фонаря. Говоришь, это мертвый ноябрь — да лишь вяло шевелятся губы, только несмешно елозит сухой язык.

